

Александр Иванович Куприн Юнкера

Часть I

Глава I. Отец Михаил

Самый конец августа; число, должно быть, тридцатое или тридцать первое. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд.

Срок и час явки в корпус – строго определенные. Да и как опоздать? «Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчишки, а юнкера славного Третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем!»

Александров остановил извозчика у Красных казарм, напротив здания четвертого кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неопишуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью.

Вот налево от входа в железные ворота – каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облупленное, построенное пятьдесят лет назад в николаевском солдатском стиле.

Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса.

Отец Михаил! Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния... Да. Вот как это было:

Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной выходящей лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть: «Кто свистел?» – и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан!» Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер, и – без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо:

– Господин капитан, это не я.

Яблукинский закричал:

– Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю. В карцер немедленно. А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался. Вы позор роты (семиклассникам начальники говорили «вы») и всего корпуса!

Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему? потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова, с резко выраженными татарскими чертами, или потому, что мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается...

Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ.

Издали донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет:

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремение, отверзаючи щедрую руку Твою...» И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту.

После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но, наоборот, все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им.

«Ну да, может быть, сто, а может быть, и двести раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плитку в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я...

Несмотря на то что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват – ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский, «эта пробка», со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому – конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста!»

Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой.

«Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Яблукинскому? Раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения? Нет! я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуются латынь и греческий язык. Итак: я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту».

Во рту у него пересохло и гортань горела.

– Круглов! – позвал он сторожа. – Отвори. Хочу в сортир.

Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей.

– Куда, куда, куда? – беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать?

Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату; она же была и учительской. Там сидели двое: дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников, слабых по тригонометрии и по приложению алгебры, штатский учитель Отте, маленький, веселый человек, с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.

– Что это такое? Что за безобразие? – закричал Михин. – Сейчас же вернитесь в карцер!

– Я не пойду, – сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неукротимых и неукротимых его предков с материнской стороны.

– В карцер! Немедленно в карцер! – взвизгнул Михин. – Ссию секунду!

– Не пойду и все тут.

– Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?

Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взглядом в круглые белые глаза Михина и сказал звонко:

– Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь! ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною. И все тут!

В эту минуту Отте наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь. Она была полуоткрыта, и десятки стриженных голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу.

Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал:

– Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам, заниматься! – И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова: – А вы сию же минуту марш в карцер!

– А я вам сказал, что не пойду, и не пойду, – ответил кадет, наклоня голову, как бычок.

– Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам...

– Попробуйте, – сказал Александров, раздувая ноздри.

Но тут Отте, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса:

– Господин поручик, позвольте мне сказать два-три слова этому взволнованному юноше.

– Ах да, пожалуйста! хоть тридцать, хоть двести слов. Черт возьми, что за безобразие! И как раз на моем дежурстве!

Отте начал очень спокойно:

– Милый юноша, сколько вам лет?

– А вам не все ли равно? – дерзко огрызнулся Александров. – Ну, семнадцать...

– Конечно, мне все равно, – продолжал учитель. – Но я вам должен сказать, что в возрасте семнадцати лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак. Векселя, им подписанные, ни во что не считаются. И даже в солдаты он не годится: требуется восемнадцатилетний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников, или опекунов, или какого-нибудь общественного учреждения.

– Ну так что ж? – упрямо перебил его Александров.

– Да только и всего, – равнодушно ответил Отте. – Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус.

– Моя мама. Но...

– И никакого «но», – возразил учитель. – Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет – как говорят мудрые французы.

– Ах, да что с ним церемониться? – нетерпеливо воскликнул Михин. – Дядька! Иди сюда!

Умные и участливые слова Отте уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и, невольно, театрально:

– Зовите хоть тысячу ваших дядек, я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того...

Но тут широкая ладонь Отте мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой.

– Тише, мальчишка! – крикнул ласково и повелительно Отте. – Помолчи немножко. Господин поручик, – обратился он к Михину, – это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали

этот козлий период.

– Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич, – от души сказал Александров. – Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры – управляющий гостиницы Фальц-Фейна, что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать.

Он низко поклонился Отте и сказал:

– Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ. Ей-богу, я не убегу.

– Ах, боже мой! – вскричал Михин, ударив себя по лбу. – У меня голова трещит от этих безобразий! Ну, пускай не запирают. Мне все равно.

Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отте:

– Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?

– Да, могу, могу, – тебя не запрут. Иди с богом, – замахал на него руками Отте. – Иди скорее, бесстыдник. Ну и характер же!

Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Четуха (настоящее его имя было Пиотух). Сдавши кадета Круглову, он сказал:

– Велено не запирать на ключ. – И, помолчав немного, прибавил: – Ну и чертенок же!

Александров принял это за комплимент.

Потянулись секунды, минуты и часы, бесконечные часы. Александрову принесли чай – сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову.

Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции.

А, кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же был еще жив и свеж в памяти бунт соседнего четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков, по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачистил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело, жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец – строевая рота на приветствие директора: «Здравствуйте, кадеты», начала упорно отвечать вместо «здравия желаем, ваше превосходительство» – «здравия желаем, кулебяки с рисом». Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно.

В четвертом же корпусе благодаря неумелому нажиму начальства это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты рамы, растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчики были выгнаны из корпуса на волю божью. И правда: с народом и с мальчиками перекручивать нельзя...

Уже смеркалось, когда пришел тот же Четуха.

– Барчук, – сказал он (действительно, он так и сказал – барчук), – ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви, на паперти.

На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей; за матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры, Сони. Александров прилгнул, назвав его управляющим гостиницы Фальц-Фейна. Он был всего только

конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была – шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Нат, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья, по какому-то инстинкту брезгливости, сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые, привычные словечки: «так сказать», «дело в том, что», «принципиально» и еще «с точки зрения».

Подойдя к Александрову, он так и начал:

– Дело в том, что...

Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал:

– Благодарю вас, Иван Александрович.

– Дело в том, что... – повторил Мажанов. – С принципиальной точки зрения...

Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому, сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомерок.

– Иван Александрович, – сказала она, – вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей.

– Дело в том, что... – сказал Мажанов и, слава богу, ушел.

– Алеша, мой Алешенька, – говорила мать, – когда же придет конец твоим глупым выходкам? Ну, убежал ты из Разумовского училища, осрамил меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор как тебе стало четыре года, я покоя от тебя не знаю. В Зоологический сад лазил без билетов, через пруд. Мокрого и грязного тебя ко мне привели за уши. Архиерею не хотел руку поцеловать, сказал, что воняет. А как еще ты князя Кудашева обидел. Смотрел, смотрел на него и брякнул: «Ты князь?» – «Я князь». – «Ты, должно быть, из Наровчата?» – «Да, откуда ты, свиненок, узнал?» – «Да просто: у тебя руки грязные». Легко ли мне было это перетерпеть. А кто извозчику под колеса попал? А кто...

Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга (Алеша был последышем). Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии.

– Ты все знаешь, мама?

– Все.

– Ну а как же этот дурак?..

– Алеша!

– Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости?

– Алеша, мы не одни... Ведь капитан Яблукинский твой начальник!

– Да. А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство – исправник, – то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему сторублевку?

– Алеша, Алеша!

– Да, я Алеша... – И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона божьего и священник корпусной церкви, маленький, седенький, трогательно похожий на святого Николая-угодника.

Александров вздрогнул.

– Дети мои, – сказал мягко отец Михаил, – вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь. Ты помолчи, ерш ершович, а вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на пять минут, а потом вы выкушаете у меня чая. И я вас провожу...

Тяжеловато было Александрову оставаться с батюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова.

– Твоя мамаша – прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну, что же? Ты был прав, а он не прав. Но

твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом, смотри – как огорчена мамаша! Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере диплом. А ей сладко. Сынок вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милый Алеша, очень многообразна, и еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это – слово «мама». И когда солдат, раненный насмерть, умирает, то последнее его слово – «мама». Ты все понял, что я тебе сказал?

– Да, батюшка, я все понял, – сказал с охотной покорностью Александров. – Только я у него извинения не буду просить.

Священник мягко рассмеялся.

– Да и не надо, дурачок. Совсем не надо.

И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу, и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном, и его разрешительные слова: «Аз иерей недостойный, разрешаю...» и так далее. Вспомнил еще (как бывший певчий) первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Критского:

«Откуда начну плакати жития моих окаянных деяний? Кое положу начало, Спасе, нынешнему рыданию».

И хор и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали:

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

– А теперь, – сказал священник, – стань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И мой совет – иди в карцер. Там тебя ждут котлеты. Прощай, ерш ершович. А я поведу твою маму чай пить.

И неслыханная в корпусной истории вещь: Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.

Глава II. Прощание

Проходя желтыми воротами, Александров подумал: «А не зайти ли к батюшке Михаилу за благословением. Новая жизнь начинается, взрослая, серьезная и суровая. Кто же поддержал ласковой рукой бестолкового кадета, когда он, обезумев, катился в пропасть, как не этот маленький, похожий на Николая-угодника священник, такой трогательно-усталый на великопостных повечериях, такой терпеливый, когда ему предлагали на уроках ядовитые вопросы: „Батюшка, как же это? Ведь Бог всеведущ и всемогущ. Он за тысячу, за миллион лет знал, что Адам и Ева согрешат, и, стало быть, они не могли не согрешить. Отчего же Он не мог уберечь их от этого поступка, если Он всемогущ? И тогда какой же смысл в их изгнании и в несчастьях всего человечества?“»

На это отец Михаил четко, сухо и пространно принимается говорить о свободной воле и, наконец, видя, что схоластика плохо доходит до молодых умов, делает кроткое заключение:

– А вы поусерднее молитесь Богу и не мудрствуйте лукаво.

На сердце Александрова сделалось тепло и мягко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой.

Стоя перед казармой, он несколько минут колебался: идти? не идти? Но какая-то дикая застенчивость, боязнь показаться навязчивым – преодолели, и Александров пошел дальше. Эти чувства нежной благодарности и уютной доброты, связанные с личностью отца Михаила, никогда не забудутся сердцем Александрова. Через четырнадцать лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность как художник-портретист, он во дни тяжелой душевной тревоги приедет, сам не зная зачем, из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно потянет его в Лефортово,

в облупленную желтую николаевскую казарму, к отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. Навстречу ему подымется отец Михаил в коричневой ряске, совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый, видимо немного обеспокоенный появлением у него штатского, то есть человека из совсем другого, давно забытого, непривычного, невоенного мира.

– Чем могу служить? – спросит он вежливо и суховато, щуря, по старой, милой, давно знакомой Александрову привычке, подслеповатые глаза.

Александров назовет свое имя и год выпуска, но священник только покачает головою с жалостным видом.

– Не помню. Простите, никак не могу вспомнить. Ведь сколько лет, сколько, сколько сотен имен... Трудно все помнить...

Тогда Александров, волнуясь и торопясь, и чувствуя, с невольной досадой, что его слова гораздо грубее и невыразительнее его душевных ощущений, рассказал о своем бунте, об увещевании на темной паперти, об огорчении матери и о том, как была смягчена, стерта злобная воля мальчугана. Отец Михаил тихо слушал, слегка кивая, точно в такт рассказу, и почти неслышно приговаривал:

– Так, так, так. Так, так.

Когда же Александров окончил, батюшка спросил:

– А чем же вы теперь, господин, изволите заниматься?

– Я художник, живописец. Главным образом пишу портреты маслом. Может быть, слышали когда-нибудь: художник Александров?

– Признаться, не довелось слышать, не довелось. Мы ведь в корпусе, как в монастыре. Ну, что же? Живопись – дело благое, если Бог сподобил талантом. Вон святой апостол Лука. Чудесно писал иконы Божией Матери. Прекрасное дело.

Потом, точно снова встревожась, он спросил:

– А что же вам, господин, от меня требуется?

– Да ничего, батюшка, – ответил, слегка опечалась, Александров. – Ничего особенного. Потянуло меня, батюшка, к вам, по памяти прежних лет. Очень тоскую я теперь. Прошу, благословите меня, старого ученика вашего. Восемь лет у вас исповедовался.

Священник ласково улыбнулся, съезжил лицо, ставшее необыкновенно милым.

– Значит, в каком-то классе зазимовали?

– В шестом. И пять лет пел на клиросе. Благословите, отец Михаил.

– Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Александров поцеловал сухонькую маленькую косточку, и душа его умякла.

– До свидания, батюшка. Простите, что побеспокоил.

– Ничего, дорогой мой, ничего... И меня простите, что не узнаю вас. Дело мое старое. Шестьдесят пятый год идет... Много времени утекло...

Идет юный Александров по знакомым, старинным местам мимо первого корпуса, над большим красным зданием которого высится огромный навес. Тронная зала, построенная Лефортом в честь Петра, в которой по ночам бродили призраки; мимо старинных потешных укреплений с высокими валами и глубокими рвами. Там крутой спуск к пруду: зимой из него делали славную ледяную гору. Вот первый плац – он огорожен от дороги густой изгородью желтой акации, цветы которой очень вкусно было есть весной, и ели их целыми шапками. Впрочем, охотно ели всякую растительную гадость, инстинктивно заменяя ею недостаток овощной пищи. Ели молочай, благородный щавель, и какие-то просвирки, дудки дикого тмина, и, в особенности, похожие на редьку корни свербики, или свергибуса, или, вернее, сурепицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтрака ломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку.

Вот второй плац, отделенный рядом старых, высоченных, бальзамических тополей. Как удивительно благоухали в пору экзаменов их липкие блестящие листья и клейкие темные почки! На втором плацу играли в лапту, в городки, в зук, в чехарду и особенно в

запрещенную игру – в «кучки», – которая очень часто кончалась переломами и вывихами рук и ног. На этой же площадке пели весенними вечерами свои собственные песни, передававшиеся из поколения в поколение и часто не совсем цензурные. Отсюда же переругивались, состязаясь в мастерстве брани, с соседями, через забор, учениками фельдшерской школы, которых звали клистирными трубками и рвотным порошком.

За калиткой – третий плац, строевой, необыкновенной величины. Он тянется от корпуса до Анненгофской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Анненгофскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студеной воде узенькой речушки Синички и выскочить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами. У калитки, весной, всегда останавливается разносчик Егорка с тирольскими пирожками (пять копеек пара), похожими видом на куски черного хлеба, очень тяжелыми и сытными. Здесь же, у калитки, на утренней прогулке, семиклассники дожидались проезда ежедневного дилижанса, в котором, вдоль, слева и справа, сидели премиленькие девочки разных возрастов и в разных костюмах. Это – местные лефортовские ученицы ездили в город, в гимназию госпожи Перепелкиной, отчего и их самих коротко и ласково называли «перепелками». Немножко кокетничать с ними – это была неотъемлемая и строго охраняемая привилегия седьмого класса. Когда дилижанс равнялся с калиткой, то в него летели скромные дары: крошечные букетики лютиков, вероники, иванда-марьи, желтых одуванчиков, желтой акации, а иногда даже фиалок, набранных в соседнем ботаническом саду с опасностью быть пойманным и оставленным без третьего блюда. Бросались иногда и стишки в бумажке, сложенной петушком:

Лишь только Феб осветит елки,
Как уж проснулись перепелки,
Спешат, прекрасные, спешат.
На нас красотки не глядят.
А мы, отвергнутые, млеем,
Дрожим и даже пламенеем...

Быстрым зорким взором обегает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Все, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшенном и очень четком виде, как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот было все это. Было долго-долго, а теперь отошло навсегда, отпало. Отпало, но не отболело, не отмерло. Значительная часть души остается здесь, так же как она остается навсегда в памяти.

Как много прошло времени в этих стенах и на этих зеленых площадках: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как долго считать, а ведь это – годы. Что же жизнь? Очень ли она длинна, или очень коротка?

Все вечный вопрос. Настанет минута, когда бессонною ночью Александров начнет считать до пятидесяти четырех и, не досчитав, лениво остановится на сорока. «Зачем думать о пустьках?»

Глава III. Юлия

По «черному» крыльцу входит Александров в полутемную прихожую, где всегда раздевались приезжавшие учителя. Встречает его древний, седой в прозелень, весь какой-то обомшелый будничным швейцар по кличке Сова.

– Здравия желаю, господин юнкер, – сипит он астматическим махорочным голосом.

Александров еще в кадетской форме; ему еще довольно далеко до настоящего юнкера, но так лестно звучит это гордое звание, что рука невольно тянется в карман за последним, единственным гривенником.

– Пожалуйте в лазаретную приемную, – говорит Сова. – Там приказано собраться всем

отпускным.

Александров идет в лазарет по длинным, столь давно знакомым рекреационным залам; их полы только что натерты и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров. Никакие внешние впечатления не действуют на Александрова с такой силой и так тесно не соединяются в его памяти с местами и событиями, как запахи. С нынешнего дня и до конца жизни память о корпусе и запах мастики останутся для него неразрывными.

Уже восьмой раз в своей жизни испытывает Александров заранее то волнение, которое всегда овладевало им при новой встрече с близкими одноклассниками после полутора месяцев летнего отпуска. Как сладко рассказывать и как интересно слушать о бесконечно разнообразных летних впечатлениях! Тут все ново и увлекательно. Один целое лето ловил щук на жерлицу, на блесну и на огонь, острогию. Другому подарили лошадь, и он верхом травил зайцев с борзыми. У третьего в имении его родителей археологи разрыли древний могильник и нашли там много костей, древней утвари, орудия и золотых украшений, которые от времени и пребывания в земле покрылись зеленою ярью. Четвертый был свидетелем большого лесного пожара и того, как убивали бешеную собаку. Следующий говорил гордо о том, как ему шурин Стася, Великий Охотник, подарил настоящую двустволку; правда – шомпольную, но знаменитого завода «Гастин-Ренетт». Таких редких ружей осталось во всем мире всего только, может быть, пять или шесть. Счастливый обладатель этого сокровища не расставался с ним ни на минуту и даже, ложась спать, укладывал его с собою в постель. А какие были купанья! Особенно на утренней заре, когда розовая вода так холодна и так до дрожи сильно и радостно пахнет. Какие злые, щипучие были черные в зелень раки! А березовая роща с грибами, черникой, брусникой и гонобобом! А сосновый лес, где рыжики, и ароматная дикая малина, и белки, и ежевика, и сами ежи, колючие недотроги! А кроткие домашние животные и зверюшки!

Эти разговоры велись обыкновенно вечером, в полутемной спальней, на чьей-нибудь койке. Они на много-много дней скрашивали монотонное однообразие жизни в казенном закрытом училище, и была в них чудесная и чистая прелесть, вновь переживать летние впечатления, которые *тогда* протекали совсем не замечаемые, совсем не ценимые, а теперь как будто по волшебству встают в памяти в таком радостном, блаженном сиянии, что сердце нежно сжимается от тихого томления и впервые крадется смутно в голову печальная мысль: «Неужели все в жизни проходит и никогда не возвращается?»

Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пестрых и благоуханных; вернее – их набрался целый чемодан, до того туго, туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть, если Александров не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом... Милая потребность юношеских душ!

И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых небес, зеленых рощ и садов – всегда на первом плане, всегда на главном месте *она* ; непостижимая, недостижимая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная – Юлия.

Но Юлия, это – только человеческое имя. Мало ли Юлий на свете. Вот даже есть в обиходе такой легонький стишок:

Хожу ли я, брожу ли я,
Все Юлия да Юлия.

Правда, Александров, немножко балующий стишками, пробовал иногда расцветить, углубить это двухстрочие:

В июне и в июле я
Влюблен в тебя, о Юлия!

На зов твой не бегу ли я

Быстрее пули, Юлия?

И описать смогу ли я
Красы твои, о Юлия!

И так далее, и так далее...

Но чего стоят вялые и беспомощные стишки? И настоящее имя ее совсем не Юлия, а скорее Геба, Гера, Юнона, Церера или другое величественное имя из древней мифологии.

Она высока ростом: на полголовы выше Александрова. Она полна, движения ее неторопливы и горды. Лицо ее кажется Александрову античным. Влажные большие темные глаза и темнота нижних век заставляют Александрова применять к ней мысленно гомеровский эпитет: «волоокая».

На дачном танцевальном кругу, в Химках, под Москвою, он был ее постоянным кавалером в вальсе, польке, мазурке и кадрили, уделяя, впрочем, немного благосклонного внимания и ее младшим сестрам, Ольге и Любе. Александров отлично знал о своей некрасивости и никогда в этом смысле не позволял себе ни заблуждений, ни мечтаний; но еще с большей уверенностью он не только знал, но и чувствовал, что танцует он хорошо: ловко, красиво и весело.

Ах! Однажды его великая летняя любовь в Химках была омрачена и пронзена зловещим подозрением: с горем и со стыдом он вдруг подумал, что Юленька смотрит на него только как на мальчика, как на желторотого кадетика, еще даже не юнкера, что кокетничает она с ним только от дачного «нечего делать» и что если она в нем что-нибудь и ценит, то только свое удобство танцевать с постоянным партнером, неутомимым, ловким и находчивым; с чем-то вроде механического манекена.

Со жгучей злобой, не потерявшей свежести даже и теперь, вспоминает Александров этот тяжелый момент.

В семье трех сестер Синельниковых, на даче, собиралось ежедневно множество безусой молодежи, лет так от семнадцати и до двадцати: кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники-студенты, ученики консерватории и школы живописи и ваяния и другие. Пели, танцевали под пианино, в *petits jeux*¹ и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Оленьку, то в Любочку. И всегда там хохотали.

Приходил постоянно на эти невинные забавы некто господин Покорни. Сверстникам Александрова он казался стариком, хотя вряд ли ему было больше тридцати пяти лет: таков уж условный масштаб юности. Надо сказать, что в этой молодой и веселой компании господин Покорни был не только не нужен, но, пожалуй, даже и тяжел. Он был длинен, как жираф; гораздо выше Юленьки, и когда танцевал, то беспрестанно бил свою даму острыми коленками. Он не умел смеяться и часто грыз в молчании ногти. Если в «почте» его спрашивали: «А ваша корреспонденция?» – он отвечал: «Да я не знаю, что написать». Вообще он наводил уныние. Про него знали только то, что у него в Москве большой магазин фотографических принадлежностей. И был он вместе с бесцветным лицом, с фигурой и костюмом весь в продольных и вертикальных морщинах.

В Троицын день на Химкинском кругу был назначен пышный бал – *gala*. Военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов. После третьей кадрили заиграли ригурнель к вальсу. Александров разыскал Юленьку. Она сидела на скамейке одна и перебирала складки своего веера. Александров подбежал и низко поклонился, приглашая ее на танец. Она уже привстала, но откуда-то вдруг просунулся долговязый Покорни, изогнувшись над Александровым, протянул руку Оленьке. И она – о, ужас! – отвернулась от юноши и положила руку на плечо жирафа.

– Позвольте, – сдержанно, но гневно воскликнул Александров. – Послушайте!

¹ Салонные игры (*фр.*).

Но Юленька и Покорни уже вертелись – благодаря косолапому кавалеру не в такт.

У Александрова так горько стало во рту от злобы, точно он проглотил без воды целую ложку хинина.

Чтобы не быть узнанным, он сошел с танцевального круга и пробрался вдоль низенького забора, за которым стояли бесплатные созерцатели роскошного бала, стараясь стать против того места, где раньше сидела Юленька. Вскоре вальс окончился. Они прошли на прежнее место. Юленька села. Покорни стоял, согнувшись над нею, как длинный крючок. Он что-то бубнил однообразным и недовольным голосом, как будто бы он шел не из горла, а из живота.

«Точно чревовещатель, – подумал Александров. – Должно быть, у всех подлецов такие противные голоса».

Юленька молчала, нервно распуская и сжимая свой веер. Потом она очень громко сказала:

– Сто раз я вам говорила – нет. И значит – нет. Проводите меня к татап. Нужно всегда думать о том, что делаешь.

Александров густо покраснел в темноте.

– Боже мой, неужели я подслушиваю!

Еще долго не выходил он из своей засады. Остаток бала тянулся, казалось, бесконечно. Ночь холодела и сырела. Духовая музыка надоела; турецкий барабан стучал по голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее. Висячие гирлянды из дубовых и липовых веток опустили беспомощно свои листья, и от них шел нежный, горьковатый аромат увядания. Александрову очень хотелось пить, и у него пересохло в горле.

Наконец-то Синельниковы собрались уходить. Их провожали: Покорни и маленький Панков, юный ученик консерватории, милый, белокурый, веселый мальчуган, который сочинял презабавную музыку к стихам Козьмы Пруткова и к другим юмористическим вещцам. Александров пошел осторожно за ними, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы не слышать их голосов.

Он слышал, как все они вошли в знакомую, канареечного цвета дачу, которая как-то особенно, по-домашнему, приютилась между двух тополей. Ночь была темная, беззвездная и росистая. Туман увлажнял лицо.

Вскоре мужчины вышли и у крыльца разошлись в разные стороны. Погас огонек лампы в дачном окне: ночь стала еще чернее.

Александров ничего не видел, но он слышал редкие шаги Покорни и шел за ними. Сердце у него билось-билось, но не от страха, а от опасения, что у него выйдет неудачно, может быть даже смешно.

Не доходя до лаун-теннисной площадки, он мгновенно решился. Слегка откашлялся и крикнул:

– Господин Покорни!

Голос у него из-за тумана прозвучал глухо и плоско. Он крикнул громче:

– Господин Покорни!

Шаги Покорни стихли. Послышался из темноты точно придушенный голос:

– Кто такой? Что нужно?

Александров сделал несколько шагов к нему и крикнул:

– Подождите меня. Мне нужно сказать вам несколько слов.

– Какие такие слова? Да еще ночью?

Александров и сам не знал, какие слова он скажет, но шел вперед. В это время ущербленный и точно заспанный месяц продрался и выкатился сквозь тяжелые громоздкие облака, осветив их сугробы грязно-белым и густо-фиолетовым светом. В десяти шагах перед собою Александров смутно увидел в тумане неестественно длинную и худую фигуру Покорни, который, вместо того чтобы дожидаться, пятился назад и говорил преувеличенно громко и торопливо:

– Кто вы такой? Что вам от меня надо, черт возьми?

Голос у него вздрагивал, и это сразу ободрило юношу. Давид снова сделал два шага к Голиафу.

– Я – Александров. Алексей Николаевич Александров. Вы меня знаете.

Тот ответил с принужденной грубостью:

– Никого я не знаю и знать не хочу всякую дрянь.

Но Александров продолжал наступать на пятившегося врага.

– Не знаете, так сейчас узнаете. Сегодня на кругу вы позволили себе нанести мне тяжелое оскорбление... в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинение, или...

– Что или? – как-то по-заячьи жалобно закричал Покорни.

– Или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках!

Вызов вышел эффектно. Какого рода оружие имел в виду кадет – а через неделю юнкер Александров, – так и осталось его тайной, но боевая фраза произвела поразительное действие.

– Мальчишка! щенок! – завизжал Покорни. – Молоко на губах не обсохло! За уши тебя драть, сопляка! Розгой тебя!

Всю эту ругань он выпалил с необычайной быстротой, не более чем в две секунды. Александров вдруг почувствовал, что по спине у него забегали холодные щекотливые мурашки и как-то весело потеплело темя его головы от опьяняющего предчувствия драки.

– Казенная шкура! – гавкнул Покорни напоследок.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное: сжав кулаки до боли, видя красные круги перед глазами, напрягая все мускулы крепкого, почти восемнадцатилетнего тела, Александров уже ринулся с криком: «Подлец», на своего врага, но вдруг остановился, как от мгновенного удара.

Покорни, удивительно быстро повернувшись, кинулся изо всех сил в бегство. Некто, там наверху заведующий небесными световыми эффектами, пустил вдруг всю лунный прожектор, и глазам Александра внезапно предстало изумительнейшее зрелище. Давным-давно, еще будучи мальчиком, он видал в иллюстрациях к Жюль Верну страуса, мчащегося в легкой упряжке, и жирафа, который обгоняет курьерский поезд. Вот именно таким размашистым аллюром удирал с поля чести ничтожный Покорни. Александров кинулся было его догонять, но вскоре убедился в том, что это не в силах человеческих. «Не швырнуть ли камнем в его спину? – Нет. Это будет низко». Так и бежал он потихоньку за Покорни, пока тот не остановился у своей дачи и не открыл входную дверь.

– Трус, хам и трижды подлец! – крикнул ему вслед Александров.

– А ты сволочь! – ответил Покорни, и дверь громко хлопнула.

Четыре дня не появлялся Александров у Синельниковых, а ведь раньше бывал у них по два, по три раза в день, забегая домой только на минуточку, пообедать и поужинать. Сладкие терзания томили его душу: горячая любовь, конечно, такая, какую не испытывал еще ни один человек с сотворения мира; зеленая ревность, тоска в разлуке с обожаемой, давняя обида на предпочтение... По ночам же он простаивал часами под двумя тополями, глядя в окно возлюбленной.

На пятый день добрый друг, музыкант Панков, влюбленный – все это знали – в младшую из Синельниковых, в лукавоглазую Любу, пришел к нему и в качестве строго доверенного лица принес запечатанную записочку от Юлии.

«Милый Алеша (это впервые, что она назвала его уменьшительным именем). Зачем вы, ненавидя своего врага, делаете несчастными ваших искренних друзей. Приходите к нам по-прежнему. *Его теперь нет* и, надеюсь, больше никогда не будет. А мне без вас так ску-у-чно.

Ваша Ю.

Ц.»

Минут десять размышлял Александров о том, что могла бы означать эта буква Ц., поставленная в самом конце письма так отдельно и таинственно. Наконец он решился обратиться за помощью в разгадке к верному белокурому Панкову, явившемуся сегодня вестником такой великой радости.

Панков поглядел на букву, потом прямо в глаза Александрову и сказал спокойно:

– Ц. – это значит – целую, вот и все.

В тот же день влюбленный молодой человек открыл, что таинственная буква Ц. познается не только зрением и слухом, но и осязанием. Достоверность этого открытия он проверил впоследствии раз сто, а может быть, и больше, но об этом он не расскажет даже самому лучшему, самому вернейшему другу.

Глава IV. Бесконечный день

В лазаретной приемной уже собрались выпускные кадеты. Александров пришел последним. Его невольно и как-то печально поразило: какая малая кучка сверстников собралась в голубой просторной комнате, – пятнадцать-двадцать человек, не больше, а на последних экзаменах их было тридцать шесть. Только спустя несколько минут он сообразил, что иные, не выдержавши выпускных испытаний, остались в старшем классе на второй год; другие были забракованы, признанные по состоянию здоровья негодными к несению военной службы; следующие пошли: кто побогаче – в Николаевское кавалерийское училище; кто имел родню в Петербурге – в пехотные петербургские училища; первые ученики, сильные по математике, избрали привилегированные карьеры инженеров или артиллеристов; здесь необходимы были и протекция и строгий дополнительный экзамен.

Почему-то жалко стало Александрову, что вот расстроилось, расклеилось, расшаталось крепкое дружеское гнездо. Смутно начинал он понимать, что лишь до семнадцати, восемнадцати лет мила, светла и бескорыстна юношеская дружба, а там охладает тепло общего тесного гнезда, и каждый брат уже идет в свою сторону, покорный собственным влечениям и велению судьбы.

Пришел доктор Криштафович и с ним корпусный фельдшер Семен Изотыч Макаров. Фельдшера кадеты прозвали «Семен Затыч», или иначе «клистирная трубка». Его не любили за его непреклонность. Нередко случалось, что кадет, которому до истомы надоела ежедневная зубрежка, разрешал сам себе день отдыха в лазарете. Для этого на утреннем медицинском обходе он заявлял, что его почему-то бросает то в жар, то в холод, а голова у него и болит и кружится, и он сам не знает, почему это с ним делается. Его отсылали вниз, в лазарет. Всем были известны способы, как довести температуру тела до желанных предельных 37,6 градусов. Но злодейский фельдшер Макаров, ставивший градусник, знал все кадетские фокусы и уловки, и никакое фальшивое обращение с градусником не укрывалось от его зорких глаз. Но дальше бывало еще хуже. Все, признанные больными, все равно, какая бы болезнь у них ни оказалась, – неизбежно перед ванной должны были принять по стаканчику касторового масла. Этим делом заведовал сам Макаров, и ни просьбы, ни посулы, ни лесть, ни упреки, ни даже бунт не могли повлиять на его твердокаменное сердце. Зеленого стекла толстостенный стакан, на дне чуть-чуть воды, а выше, до краев, желтоватое густое ужасное масло. Кусок черного хлеба густо посыпан крупной солью. Это – роковая закуска. Последний вздох, страшное усилие над собою. Нос зажат, глаза зажмурены.

– Э, нет. До конца, до конца! – кричит проклятый Макаров... Гнусное воспоминание...

Но бывали редкие случаи, когда Изотычу прощалось его холодное коварство. Это бывало тогда, когда удавалось его затащить в гимнастический зал.

Он делал на турнике, на трапедии и на параллельных брусьях такие упражнения, которых никогда не могли сделать самые лучшие корпусные гимнасты. Он и сам-то похож был на циркача очень малым ростом, чересчур широкими плечами и короткими кривыми ногами.

Сейчас же вслед за доктором пришел дежурный воспитатель, никем не любимый и не

уважаемый Михин.

– Здравствуйте, господа, – поздоровался он с кадетами.

И все они, даже не сговорившись заранее, вместо того чтобы крикнуть обычное: «Здравия желаем, господин поручик», ответили равнодушно: «Здравствуйте».

Михин густо покраснел.

– Раздевайтесь на физический осмотр, – приказал он дрожащим от смущения и обиды голосом и стал кусать губы.

Кадеты быстро разделись донага и босиком подходили по очереди к доктору. То, что было в этом телесном осмотре особенно интимного, исполнял фельдшер. Доктор Криштафович только наблюдал и делал отметки на списке против фамилий. Такой подробный осмотр производился обыкновенно в корпусе по четыре раза в год, и всегда он бывал для Александра чем-то вроде беспечной и невинной забавы, тем более что при нем всегда бывало испытание силы на разных силомерах – нечто вроде соперничества или состязания. Но почему теперь такими грубыми и такими отвратительными казались ему прикосновения фельдшера к тайнам его тела?

И еще другое: один за другим проходили мимо него нагишом давным-давно знакомые и привычные товарищи. С ними вместе сто раз мылся он в корпусной бане и купался в Москве-реке во время летних Коломенских лагерей. Боролись, плавали наперегонки, хвастались друг перед другом величиной и упругостью мускулов, но самое тело было только незаметной оболочкой, одинаковой у всех и ничуть не интересною.

И вот теперь Александров с недоумением заметил, чего он раньше не видел или на что почему-то не обращал внимания. Странными показались ему тела товарищей без одежды. Почти у всех из-под мышек росли и торчали наружу пучки черных и рыжих волос. У иных груди и ноги были покрыты мягкой шерстью. Это было внезапно и диковинно. И тут только заметил он, что прежние золотистые усики на верхней губе Бутынского обратились в рыжие, большие, толстые фельдфебельские усы, закрученные вверх. «Что с нами со всеми случилось?» – думал Александров и не понимал.

Но особенно смущали его от природы необычайно тонкое обоняние запахи этих сильных, полумужских обнаженных тел. Они пахнули по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то увядающим нарциссом...

– Удивительно, неужели мы все разные, – сказал себе Александров, – и разные у нас характеры, и в разные стороны потекут наши уже чужие жизни, и разная ждет нас судьба? Да и правда: уж не взрослые ли мы стали?

Осмотр кончился. Кадеты оделись и поехали в училище на Знаменку. Но каким способом и каким путем они ехали – это навсегда выпало из памяти Александрова. В бесконечную длину растянулся для него сложный, пестрый, чрезмерно богатый лицами, событиями и впечатлениями день вступления в училище.

Утром в Химках прощание с сестрой Зиной, у которой он гостил в летние каникулы. Здесь же, по соседству, визит семье Синельниковых. С большим трудом удалось ему улучшить минуту, чтобы остаться наедине с богоподобной Юленькой, но когда он потянулся к ней за знакомым, сладостным, кружащим голову поцелуем, она мягко отстранила его загорелой рукой и сказала:

– Забудем летние глупости, милый Алеша. Прошел сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите к нам потанцевать. А теперь прощайте. Желаю вам счастья и успехов.

И он ушел, молча, обиженный, несчастный, едва сдерживая горькие слезы...

Потом путь по железной дороге до Николаевского вокзала; оттуда на конке в Кудрино, к маме; затем вместе с матерью к Иверской Божьей Матери; после чуть ли не на край города в Лефортово, в кадетский корпус. Прощание, переодевание и, наконец, опять огромный путь на Арбат, на Знаменку, в белое здание Александровского училища.

В теле усталость, в голове путаница. В целые годы растянулся этот тягучий день, и все нет ему конца.

Никогда потом в своей жизни не мог припомнить Александров момента вступления в

училище. Все впечатления этого дня походили у него в памяти на впечатления человека, проснувшегося после сильнейшего опьянения: какие-то смутные картины, пустячные мелочи и между ними черные провалы. Так и не мог он восстановить в памяти, где выпускных кадет переодевали в юнкерское белье, одежду и обувь, где их ставили под ранжир и распределяли по ротам.

Ярче всего сохранилась у него такая минута: он стоит в длинном широком белом коридоре; на нем легкая свободная куртка, застегнутая сбоку на крючки, а на плечах белые погоны с красным вензелем А. II, Александр Второй. По коридору взад и вперед снуют молодые люди. Здесь и старые юнкера-второкурсники, которых сразу видно по выправке, и только прибывшие выпускные кадеты других корпусов, как московских, так и провинциальных, в разноцветных погонах. Тут впервые понимает Александров, как тяжело одиночество в чужой незнакомой толпе.

Он стоит у широкого окна, равнодушно прислушиваясь к гулу этого большого улья, рассеянно, без интереса, со скукою глядя на пестрое суетливое движение. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими погонами – он худощав и смугло румян, черные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александрова:

– Какого э... корпуса?

– Второго московского, господин капитан.

– Э... На что же вы себе такие волосья отпустили? Думаете, красиво?

И он кричит громко:

– Андриевич!

– Я! – раздается отклик с другого конца коридора, и к офицеру быстро подбегает и ловко вытягивается перед ним тот самый Андриевич, который шел вместе с Александровым до шестого класса, очень дружил с ним и даже издавал с ним вместе кадетскую газету.

Офицер спрашивает:

– Вашего корпуса?

– Так точно, господин капитан.

– Э... Так возьмите этого отца протодиакона и тащите его к цирюльнику стричься, ишь какую гривицу отрастил.

– Слушаю, господин капитан.

Весело, лукаво улыбаясь, он непринужденно берет Александрова за рукав и говорит:

– Идем, идем, фараон.

Потом он сам наблюдает, как в умывалке цирюльник стрижет наголо бывшего друга-приятеля, и слегка добродушно подтрунивает.

– Почему же я фараон? – спрашивает Александров.

Тот отвечает:

– Потому же, почему я обер-офицер. Разница между первым и вторым курсом.

– А кто же этот капитан?

– Это командир нашей четвертой роты, капитан Фофанов, а по-нашему Дрозд. Строгая птица, но жить с ней все-таки можно. Я тебя давно знаю. Ты у него досыта насидишься в карцере.

По окончании стрижки он доставляет его ротному командиру. Тот смотрит на новичка сверху вниз, склоняя голову то на левый, то на правый бок.

– Э... Ничего. Так хоть немножко на юнкера похож. Вы его подтягивайте, Андриевич.

Глава V. Фараон

С трудом, очень медленно и невесело осваивается Александров с укладом новой училищной жизни, и это чувство стеснительной неловкости долгое время разделяют с ним все первокурсники, именуемые на юнкерском языке «фараонами», в отличие от юнкеров старшего курса, которые, хотя и преждевременно, но гордо зовут себя «господами обер-офицерами».

В кличке «фараон», правда, звучит нечто пренебрежительное, но она не обижает уже благодаря одной своей нелепости. В Александровском училище нет даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется «щуканьем» и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унижительном обращении старшего курса с младшим: дурацкий обычай, собезьяненный когда-то, давным-давно, у немецких и дерптских студентов, с их буршами и фуксами, и обратившийся на русской черноземной почве в тупое, злобное, бесцельное издевательство.

За несколько лет до Александрова «щукание» собиралось было прочно привиться и в Москве, в белом доме на Знаменке, когда туда по какой-то темной причине был переведен из Николаевского кавалерийского училища светлейший князь Дагестанский, привезший с собою из Петербурга, вместе с распушенной развинченностью, а также с модным томным грассированием, и глупую моду «щукать» младших товарищей. Может быть, его громкий титул, может быть, его богатство и личное обаяние, а вероятнее всего, стадная подражательность, так свойственная юношеству, были причинами того, что обычаем «щукания» заразилась сначала первая рота – рота его величества, – в которую попал князь, а потом постепенно эту дурную игру переняли и другие три роты.

Однако это вредное самоуправство оказалось недолговечным. Преобладающим большинством в училище были коренные москвичи, вышедшие из четырех кадетских корпусов. Москва же в те далекие времена оставалась воистину «порфиносною вдовою», которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порою казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством, с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург, с его сухостью, узостью и европейской мелочностью, не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала. «В Питере – все выскочки. Самым старым родам не более трехсот лет, а ордена и высокие титулы там даются за низкопоклонство и угодливость». А Москва? «Что за тузы в Москве живут и умирают! Какие славные вековые боярские столбовые роды обитают в ней на Пречистенке, на Поварской, на Новинском бульваре и на Никитских...» И самый воздух в первопрестольной был совсем иной, чем петербургский: куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее. Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прививались в Москве и скоро отмирали. Таким же путем прекратилось в Александровском училище и пресловутое немецкое «щуканье». Не место ему было в свобододолюбивой Москве. Угнетенные навязанной мелкой тиранией господ обер-офицеров, юнкера, однако, не жаловались ни высшему начальству, ни своим родителям: и то и другое было бы изменой внутреннему духу и укладу училища. Переворот произошел как-то случайно, сам собою, в один из тех июльских горячих дней, когда подходила к самому концу тяжелая, изнурительная лагерная служба.

Юнкера старшего класса уже успели разобрать, по присланному из Петербурга списку, двести офицерских вакансий в двухстах различных полках. По субботам они ходили в город к военным портным примерить в последний раз мундир, сюртук или пальто и ежедневно, с часа на час, лихорадочно ждали заветной телеграммы, в которой сам государь император поздравит их с производством в офицеры.

В этот день после нудного батальонного учения юнкера отдыхали и мылись перед обедом. По какой-то странной блажи второкурсник третьей роты Павленко подошел к фараону этой же роты Голубеву и сделал вид, что собирается щелкнуть его по носу. Голубев поднял руку, чтобы предотвратить щелчок. Но Павленко закричал: «Это что такое, фараон? Смирно! Руки по швам!» Он еще раз приблизил сложенные два пальца к лицу Голубева. Но тут произошло нечто вовсе неожиданное. Скромный, всегда тихий и вежливый Голубев воскликнул:

– Довольно вы надо мною издевались! – и с этим криком, быстро открыв складной ножик, вонзил его в наружную сторону протянутой кисти. Павленко опешил. Рана оказалась

пустычная, но кровь потекла обильно. Кстати, Голубев первый сделал Павленко перевязку из своего чистого полотенца.

Эта неприятная история быстро разнеслась по всему лагерю. Ни старшие, ни младшие юнкера не знали, как отнестись к кровавому событию. Некоторые из выпускных, очень немногие, и самые ярые «цукатели» предлагали довести до сведения начальства о дерзком поступке Голубева: пусть его подвергнут усиленному аресту или отправят нижним чином в полк. Но половина господ обер-офицеров и все фараоны стояли за него. Мигом по всем четырем баракам второкурсников помчались летучие гонцы: «После обеда всему второму курсу собраться в столовую!»

Собралось человек до шестидесяти. Уклонились лентяи, равнодушные, эгоисты, боязливые, туповатые, мнительные, неисправимые сони, выгадывавшие каждую лишнюю минутку, чтобы поваляться в постели, а также будущие карьеристы и педанты, знавшие из устава внутренней службы о том, что всякие собрания и сборища строго воспрещаются.

Говорили все сразу, но договорились очень скоро.

«Нам колбасники, немецкие студенты, не пример и гвардейская кавалерия не указ. Пусть кавалерийские юнкера и гвардейские „корнеты“ ездят верхом на своих зверях и будят их среди ночи дурацкими вопросами. Мы имеем высокую честь служить в славном Александровском училище, первом военном училище в мире, и мы не хотим марать его прекрасную репутацию ни шутовским балаганом, ни идиотской травлей младших товарищей. Поэтому решим твердо и дадим друг другу торжественное слово, что с самого начала учебного года мы не только окончательно прекращаем это свинское цуканье, достойное развлечений в тюрьме и на каторге, но всячески его запрещаем и не допустим его никогда. Да его уже и нет, оно прошло, и мы забыли о нем. Не правда ли, друзья? и все. И точка.

Пусть, в память старины, фараоны так и остаются фараонами. Не нами это прозвание придумано, а нашими прославленными предками, из которых многие легли на поле брани за веру, царя и отечество. Пусть же свободный от цукания фараон все-таки помнит о том, какая лежит огромная дистанция между ним и господином обер-офицером. Пусть всегда знает и помнит свое место, пусть не лезет к старшим с фамильярностью, ни с амикошонством, ни с дружбой, ни даже с простым праздным разговором. Спросит его о чем-нибудь обер-офицер – он должен ответить громко, внятно, бодро и при этом всегда правду. И конец. И дальше – никакой болтовни, никакой шутки, никакого лишнего вопроса. Иначе фараон зазнается и распустился. А его, для его же пользы, надо держать в строгом, сухом и почтительном отдалении.

Да и зачем ему соваться в высшее, обер-офицерское общество? В роте пятьдесят таких фараонов, как и он, пусть они все дружатся и развлекаются. Мирятся и ссорятся, танцуют и поют промеж себя; пусть хоть представления дают и на головах ходят, только не мешали бы вечерним занятиям.

Но две вещи фараонам безусловно запрещены: во-первых, травить курсовых офицеров, ротного командира и командира батальона; а во-вторых, петь юнкерскую традиционную «расстанную песню»: «Наливай, брат, наливай». И то и другое – привилегии господ обер-офицеров; фараонам же заниматься этим – и рано и не имеет смысла. Пусть потерпят годик, пока сами не станут обер-офицерами... Кто же это в самом деле прощается с хозяевами, едва переступив порог, и кто хулит хозяйские пироги, еще их не отведав?»

Так, или почти так, выразили свое умное решение нынешние фараоны, а через день, через два уже господа обер-офицеры; стоит только прийти волшебной телеграмме, после которой старший курс мгновенно разлетится, от мощного дуновения судьбы, по всем концам необъятной России. А через месяц придут в училище и новые фараоны.

И еще одно мудрое словесное постановление было утверждено на этом необыкновенном заседании в просторном столовом бараке...

«Но надо же позаботиться и о жалких фараонах. Все мы были робкими новичками в училище и знаем, как тяжелы первые дни и как неуверенны первые шаги в суровой

дисциплине. Это все равно что учиться кататься на коньках или ходить на ходулях. И потому пускай каждый второкурсник внимательно следит за тем фараоном своей роты, с которым он всего год назад ел одну и ту же корпусную кашу. Остереги его вовремя, но вовремя и подтяни крепко. От веков в великой русской армии новобранцу был первым учителем, и помощником, и заступником его дядька-земляк».

Всю вескость последнего правила пришлось вскоре Александрову испытать на практике, и урок был не из нежных. Вставали юнкера всегда в семь часов утра; чистили сапоги и платье, оправляли койки и с полотенцем, мылом и зубной щеткой шли в общую круглую умывалку, под медные краны. Сегодняшнее сентябрьское утро было сумрачное, моросил серый дождик; желто-зеленый туман висел за окнами. Тяжесть была во всем теле, и не хотелось покидать кровати.

К Александрову подошел дежурный по роте, второкурсник Балиев, очень любезный и тихий армянин с оливковым лицом, испещренным веснушками.

– Вставайте же, Александров, – сказал он спокойно. – Вставайте.

– Да я сейчас, сейчас. Дайте полежать несколько минуток. Что вам стоит?

– А я вам говорю: вставайте немедленно! – возвысил голос Балиев.

– Ах, боже мой! Что же вам, жалко, что ли?

И вдруг он услышал через всю спальню резкий и гневный голос:

– Александров, молчать! Вставайте сию секунду!

В этом голосе было столько повелительного, что бедный фараон мгновенно вскочил на ноги, стряхнул с глаз сонную истому и сразу увидел, что кричал старший юнкер Тучабский. Это для Александрова было и дико и непонятно. Ведь это тот самый Тучабский, с которым они жили в тесной дружбе целых шесть корпусных лет, пока Александров не застрял на второй год в шестом классе. Раньше же у них было все общее: пополам покупали халву и нугу, вместе собирали коллекции растений, бабочек и перьев. Изобрели собственную, никому не понятную азбуку и таинственный разговорный язык. Вместе же они одно время увлекались пиротехникой: делали из серы, селитры, бертолетовой соли, толченого сахара и угля бенгальские огни, вертуны и шутихи и зажигали их вечером в ватерклозете. Также читали друг другу по очереди книги, принесенные с воли... Да ведь это он, Тучабский, прежний, милый друг Тучабский!.. Откуда же у него взялся этот страшный голос, который точно столкнул Александрова с постели на пол. И горько и обидно стало фараону. «Что же меня ждет дальше?»

А после обеда, когда наступило время двухчасового отдыха, Тучабский подошел к Александрову, сидевшему на койке, положил ему свою огромную руку на голову и сурово-ласково сказал:

– Ты не сердись на меня. Я тебе же добра желаю. И прошу перестать быть ершом. Здесь тебе не корпус, а военное училище с воинской службой. Да подожди, все обомнется, все утрясется... Так-то, дорогой мой.

И ушел.

Глава VI. Танталовы муки

Каждую среду на полдня и каждую субботу до вечера воскресенья юнкера ходили в отпуск. Злосчастные фараоны с завистью и с нетерпением следили за тем, как тщательно обряжались обер-офицеры перед выходом из стен училища в город; как заботливо стягивали они в талию новые прекрасные мундиры с золотыми галунами, с красным вензелем на белом поле. Мундиры, туго опоясанные широким кушаком, на котором переkreщивались две гренадерские пылающие гранаты. На левом боку кушака прикреплялся штык в кожаном футляре. Прежде – помнил Александров по своим ранним кадетским годам – оружием юнкера был не узенький, как селедка, штык, а тяжелый, широкий гренадерский тесак с медной витою рукоятью – настоящее боевое оружие, которым при желании свободно можно было бы оглушить быка. Александров уже знал, что совсем не его славные предки,

«старинные александровцы», вызвали своим поведением такую прискорбную замену оружия. Вины были юнкера военного окружного училища, что в Красных казармах, те самые, которые после стажа в полку держат при своем училище экзамен на армейского подпрапорщика и которые набираются с бора по сосенке. Это они одной зимней ночью на Масленице завязали огромный скандал в области распреселых непотребных домов на Драчевке и в Соболевом переулке, а когда дело дошло до драки, то пустили в ход тесаки, в чем им добросовестно помогли строевые гренaдеры Московского округа. Около этого дурацкого события поднялся большой и, как всегда, преувеличенный шум, притушить который начальство не успело вовремя, и результатом был строгий общий разнос из Петербурга с приказом заменить во всем Московском гарнизоне тяжкие обоюдоострые тесаки невинными штыками...

Этот выходной костюм довершался летом – бескозыркой с красным околышем и кокардой, зимою – каракулевой низкой шапкой с золотым (медным) начищенным орлом. И тот и другой головной убор бывал лихо и вызывающе сдвинут на правый бок. Широкие черные штаны, по моде, заимствованной у императорских стрелков, надевались с широким напуском и низко заправлялись в *собственные* шикарные сапоги, французского или русского лака, стоявшие недешево. Постоянный училищный поставщик Ефремов брал за них с колодками от пятнадцати до восемнадцати рублей. Совсем, окончательно бедные юнкера принуждены были ходить в отпуск в казенных сапогах, слегка и вовсе уж не так дурно благоухавших дегтем. Зато белые замшевые перчатки были и обязательны и недороги: мыть их можно было хоть сто раз, и они ничуть не изнашивались. Да в училище никому бы не могло прийти в голову смеяться или глумиться над юнкером, родственники которого были людьми несостоятельными, часто многосемейными и живущими в глухой провинции на жалкую полковничью или майорскую пенсию. Случаи подобного издевательства были совсем неизвестны в домашней истории Александровского училища, питомцы которого, по каким-то загадочным влияниям, жили и возрастали на основах рыцарской военной демократии, гордого патриотизма и сурового, но благородного, заботливого и внимательного товарищества.

С особенной пристальностью следили, разинув рты, несчастные фараоны за тем, как обер-офицеры, прежде чем получить увольнительный билет, шли к курсовому офицеру или к самому Дрозду на осмотр.

– Почему косит борт? Зачем кокарда не посредине? Грудь морщит. Подтянуть! Кругом! Расправить складку на спине!

Но вот ровным, щегольским, учебным шагом подходит, громыхая казенными сапожищами, ловкий «господин обер-офицер». Раз, два. Вместе с приставлением правой ноги рука в белой перчатке вздергивается к виску. Прием сделан безупречно. Дрозд осматривает молодцеватого юнкера с ног до головы, как лошадиный знаток породистого жеребца.

– Хорошо, юнкер. И одет безупречно. За версту видно бравого александровца. Видно совы по полету, добра молодца по соплям.

– Рад стараться, ваше высокоблагородие!

– Ступайте с богом. – Двухприемный, крепкий поворот налево, и юнкер освобожден.

Новичкам еще много остается дней до облачения в парадную форму и до этого требовательного осмотра. Но они и сами с горечью понимают, что такая красивая, ловкая и легкая отчетливость во всех воинских движениях не дается простым подражанием, а приобретает долгую практикой, которая наконец становится бессознательным инстинктом.

До безумия, до чесотки хочется в отпуск, но нечего об этом счастье и думать. Не успел еще фараон дозреть до отпуска. Медленно ползут дни и недели скучного томления. Роздых и умягчение фараонским душам бывает только по четвергам. Каждый четверг за обедом играет в полуподвальной громадной каменной юнкерской столовой училищный оркестр. Этот оркестр и его изумительный дирижер, старый Крейнбринг, которого помнят древнейшие поколения александровцев, составляют вместе одну из почтенных московских

достопримечательностей.

Всем юнкерам, так же как и многим коренным москвичам, давно известно, что в этом оркестре отбывают призыв лучшие ученики московской консерватории, по классам духовых инструментов, от начала службы до перехода в великолепный Большой московский театр. Юнкера – великие мастера проникнуть в разные крупные и малые дела и делишки – знают, что на флейте играет в их оркестре известный Дышман, на корнет-а-пистоне – прославленный Зеленчук, на гобое – Смирнов, на кларнете – Михайловский, на валторне – Чародей-Дудкин, на огромных медных басах – наемные, сверхсрочно служащие музыканты гренадерских московских полков, бывшие ученики старого требовательного Крейнбринга, и так далее. Барабанщик же Александровского оркестра – несменяемый великий артист Индурский, из кантонистов, однолетка с Крейнбрингом, – маленький, стройный старичок с черными усами и с седыми баками по пояс. Он первейший из всех барабанщиков Московского военного округа, а может быть, всего мира. Говорят, что однажды состоялось в московском манеже торжественное состязание специалистов по маленькому барабану, и Индурский блистательно вышел из него первым. Всем известно, что Индурский никому не хочет сообщить тайну своей несравненной дробы и унесет ее с собой в могилу. Что подделаешь? Во всяком военном училище есть такого рода безвредный, немножко смешной со стороны, невинный и наивный шовинизм.

Садясь за четверговый обед, юнкера находят на столах музыкальную программу, писанную круглым военно-писарским «рондо» и оттиснутую гектографом. В нее обыкновенно входили новые штраусовские вальсы, оперные увертюры и попури, легкие пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона и Вагнера. Оркестр Крейнбринга был так на славу выдрессирован, что исполнял самые деликатные подробности, самое сладкое пиано с тонким совершенством хорошего струнного оркестра.

Нередко юнкера аплодировали, но старый, немного горбатый Крейнбринг не обращал никакого внимания на эти знаки поощрения. Иногда юнкера просили сыграть одну из своих любимых вещиц, например, «Мельницу», «Марш Буланже», «Турецкий патруль», увертюру из «Руслана» или особенно «Почту в лесу». Последняя пьеска игралась с фокусом, чрезвычайно занимательным. Великий мастер корнет-а-пистона Зеленчук перед началом номера незаметно для юнкеров уходил из столовой и прятался в конце длинного-предлинного коридора. Вся прелесть состояла в том, что, как только кончалась оркестровая интродукция, Зеленчук вплетал в нее тихий, немного печальный отзыв, шедший как будто в самом деле из далекой глубины леса. И таким образом оркестр довольно долго перекликался с заблудившимся почтальоном, все время приближаясь друг к другу, пока не встречались в общем хоре.

Но упросить Крейнбринга бывало не легко. Этот старый немец отличался козлиным упрямством. С высоты своей славы – пусть только московской, но несомненной – он, как и почти все музыкальные маэстро, презирал большую, невежественную толпу и был совсем не чувствителен к комплиментам. Москвичи говорили про него, что он уважает только двух человек на свете: дирижера Большого театра, строптивного и властного Авранека, а затем председателя немецкого клуба, фон Титцнера, который в честь компатриота и сочлена выписывал колбасу из Франкфурта и черное пиво из Мюнхена.

Но одну вещь, весьма ценимую юнкерами, он не только часто ставил в четверговые программы, но иногда даже соглашался повторять ее. Это была увертюра к недоконченной опере Литольфа «Робеспьер». Кто знает, почему он давал ей такое предпочтение: из ненависти ли к великой французской революции, из почтения ли к личности Робеспьера или его просто волновала музыка Литольфа?

В этой героической увертюре в самом финале есть страшный эффект, производимый резким и грозным ударом литавров: это тот момент, когда тяжелый стальной нож падает на склоненную шею «Неподкупного».

Между юнкерами по поводу этой увертюры ходило давнее предание, передававшееся из поколения в поколение. Рассказывали, что будто бы первым литаврщиком, исполнявшим

роковой удар гильотины, был никому не известный скромный маленький музыкант, личный друг Крейнбринга еще с детских лет.

Говорили дальше, что этот музыкант пришел однажды в оркестр в каком-то особенно серьезном, почти торжественном настроении. На расспросы товарищей он отвечал нехотя и равнодушно, но сказал одному из них, якобы самому Крейнбрингу: «Сегодня вы услышите такой удар гильотины, которого не забудете никогда в жизни». И правда. Случилось нечто невероятно жуткое. Безвестный музыкант выждал точно определенную секунду и ударил в литавры с необычайной силой. Но тут же он упал на пол, пораженный разрывом сердца. Уверяли еще старые юнкера молодых, что будто бы Крейнбринг научил барабанщика Индурского этому необыкновенному удару в память своего преждевременно скончавшегося друга... Так же, как и сам в память его играл увертюру. Что здесь было правдой и что выдумкой, никто не удосужился проверить; спросить же сердитого, важного и молчаливого Крейнбринга никто бы не отважился, да он, кажется, знал по-русски одни музыкальные слова, но все равно: юному сердцу нельзя жить без романтики.

Конечно, прекрасен был училищный оркестр, гордость александровцев, и ждали юнкера четвергового концерта с жадным нетерпением; но для бедных желторотых фараонов один час вокального наслаждения далеко не искупал многих часов беспрестанной прозаической строжайшей муштры и неловкой связанности и беспомощности в чужом, еще не обжитом доме, в котором невольно натыкаешься на все углы и косяки.

Первое, чему неизбежно учили каждого юнкера, была заповедь:

– Сначала забудьте все то, чему вас учили в кадетском корпусе. Теперь вы не мальчики, и каждый из вас в случае надобности может быть мгновенно призван в состав действующей армии и, следовательно, отправлен на поле сражения. Значит, каждого указания и приказа старших слушаться и подчиняться ему беспрекословно.

И правда, очень многому, почти всему, приходилось переучиваться заново.

– Чтобы плечи и грудь были поставлены правильно, – учил Дрозд, – вдохни и набери воздуха столько, сколько можешь. Сначала затаи воздух, чтобы запомнить положение груди и плеч, и когда выпустишь воздух, оставь их в том же самом порядке, как они находились с воздухом. Так вы и должны держаться в строю.

Всегда ходи и держись, даже вне строя, так, как подобает воину. Не шаркайте подметками, не везите, не волочите ног по полу. Шаг легкий, быстрый, крупный и веселый. Идете вдвоем, непременно в ногу. Даже когда идешь один, в уборную, и то иди, как будто идешь в ногу. Никогда не горбиться. Для этого научись держать высоко голову, однако не выставляя вперед подбородок и, наоборот, втягивая его в себя... Александров! Сейчас вы промаршируете вперед и назад. Попробуйте идти сгорбившись, а голову как можно выше. Ну! Шагом марш! Раз-два, раз-два! Стой! Ну, что, юнкер Александров? Ловко ли сутулиться, а голову держать высоко?

– Никак нет, ваше высокоблагородие (так величали юнкера офицеров в строю и по службе). Даже, скорее, трудно.

– Ну вот, теперь поняли? А жаль, что вы сами себя в это время не видели. Зрелище было довольно-таки гнусное... Итак, друзья мои, никогда не забывайте, что на вас вся Москва смотрит. Гляди, как орел, ходи женихом. Вы же, юнкера второго курса, следите зорко за этими желторотыми. Не скупитесь на замечания и выговоры. Им это будет только на пользу. Ибо, – и тут он повысил голос до окрика, – ибо, как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая попадьа, или ползет, как вошь по мокрому месту, или смотрит на землю, как разочарованная свинья, или свесит голову набок, подобно этакому увядающему цветку, – буду греть беспощадно: лишние дневальства, без отпуска, арест при исполнении служебных обязанностей.

Да, это были дни воистину учетверенного нагревания. Грел свой дядька-однокурсник, грел свой взводный портупей-юнкер, грел курсовой офицер и, наконец, главный разогреватель, красноречивый Дрозд, лапидарные поучения которого как-то особенно ядовито подчеркивались его легким и характерным заиканием.

Учили строевому маршу с ружьем, обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах, но учили также и легкой уверенной красивой городской походке. Учили простой стойке, с ружьем и без ружья. Учили или, вернее, переучивали ружейные приемы.

Сравнительно с легкими драгунскими берданками, которые употреблялись в корпусе, двенадцати с половиною фунтовые пехотные винтовки были с непривычки тяжеловаты. Поднять за штык на вытянутой руке такую винтовку мог среди первокурсников один Жданов.

Но больше всего было натаскивания и возни с тонким искусством отдания чести. Учились одновременно и во всех длинных коридорах и в бальном (сборном) зале, где стояли портреты выше человеческого роста императора Николая I и Александра II и были врезаны в мраморные доски золотыми буквами имена и фамилии юнкеров, окончивших училище с полными двенадцатью баллами по всем предметам.

Здесь практически проверялась память: кому и как надо отдавать честь. Всем господам обер- и штаб-офицерам чужой части надлежит простое прикладывание руки к головному убору. Всем генералам русской армии, начальнику училища, командиру батальона и своему ротному командиру честь отдается, становясь во фронт.

– Смотри, Александров, – приказывает Тучабский. – Сейчас ты пойдешь ко мне навстречу! Я – командир батальона. Шагом марш, раз-два, раз-два... Не отчетливо сделал полуоборот на левой ноге. Повторим. Еще раз. Шагом марш... Ну а теперь опоздал. Надо начинать за четыре шага, а ты весь налез на батальонного. Повторить... раз-два. Эко, какой ты непонятливый фараон! Рука приставляется к борту бескозырки одновременно с приставлением ноги. Это надо отчетливо делать, а у тебя размазня выходит. Отставить! Повторим еще раз.

Конечно, эти ежедневные упражнения казались бы бесконечно противными и вызывали бы преждевременную горечь в душах юношей, если бы их репетиторы не были так незаметно терпеливы и так сурово участливы.

Случалось, они резко одергивали своих птенцов и порою, чтобы расцветить монотонность однообразной работы, расцветивали науку острым, крупным солдатским словечком, сбереженным от времен далеких училищных предков. Но злоба, придиричивость, оскорбление, издевательство или благоволение к любимчикам совершенно отсутствовали в их обращении с младшими. Училищное начальство – и Дрозд в особенности – понимало большое значение такого строгого и мягкого, семейного, дружеского военного воспитания и не препятствовало ему. Оно по справедливости гордилось ладным табуном своих породистых однолеток и двухлеток жеребчиков – горячих, смелых до дерзости, но чудесно послушных в умных руках, умело соединяющих ласку со строгостью.

Прежний начальник училища, ушедший из него три года назад, генерал Самохвалов, или, по-юнкерски, Епишка, довел пристрастие к своим молодым питомцам до степени, пожалуй, немного чрезмерной. Училищная неписаная история сохранила многие предания об этом взбалмошном, почти неправдоподобном, почти сказочном генерале.

Ему ничего не стоило, например, нарушить однажды порядок торжественного парада, который принимал сам командующий Московским военным округом. Несмотря на распоряжение приказа, отводившего место батальону Александровского училища непосредственно позади гренадерского корпуса, он приказал ввести и поставить свой батальон впереди гренадер. А на замечание командующего парадом он ответил с великолепной самоуверенностью:

– Московские гренадеры – украшение русской армии, но согласитесь, ваше превосходительство, с тем, что юнкера Александровского училища – это московская гвардия.

И он настоял на своем. Неизвестно, как сошла ему с рук эта самодурская выходка. Впрочем, вся Москва любила свое училище, а Епишка, говорят, был в милости у государя Александра II.

Рассказывали о таком случае: какой-то пехотный подпоручик, да еще не Московского гарнизона, да еще, говорят, не особенно трезвый, придрался на улице к юнкеру-второкурснику якобы за неправильное отдавание чести и заставил его несколько раз повторить этот прием. Собралась глазастая московская толпа. Юнкер от стыда, от оскорбления и бешенства сделал чрезвычайно тяжелый дисциплинарный проступок. Заметив проезжавшего легкой рысью лихача на серой лошади, он вскочил в пролетку и крикнул: «Валяй вовсю!» Примчавшись в училище, потрясенный только что случившейся с ним бедою, он прибежал к Самохвалову и рассказал ему подробно все свершившееся с ним. Епишка кричал на него благим матом с полчаса, а потом закатал его в карцер, всей полнотой своей грузной начальнической власти, под усиленный арест. Когда же прибыл в училище обиженный пехотный подпоручик со своею жалобой, Самохвалов приказал выстроить все училище.

– Юнкер моего училища, – сказал он, – не мог бы совершить такого проступка. Впрочем, сделайте милость, вот вам все мои юнкера. Ищите виновного.

Конечно, подпоручик, растерявшийся под обстрелом четырехсот пар насмешливых и недружелюбных взглядов, не нашел своего обидчика, а юнкер благополучно избег отдачи в солдаты почти накануне производства.

Много других подобных поблажек делал Епишка своим возлюбленным юнкерам. Нередко прибегал к нему юнкер с отчаянной просьбой: по всем отраслям военной науки у него баллы душевного спокойствия, но преподаватель фортификации только и знает, что лепит ему шестерки и даже пятерки... Невзлюбил сироту! И вот в среднем никак не выйдет девяти, и прощай теперь, первый разряд, прощай, старшинство в чине...

Тогда Епишка неизменно гнал юнкера в карцер, оставлял на две недели без отпуска и назначал на три внеочередных дежурства. А потом вызывал к себе учителя, полковника инженерных войск, и ласково, убедительно, мягко говорил ему:

– Ах, полковник! Я ведь давно позабыл высокое искусство фортификации. Помню как сквозь сон: Вобана, Тотлебена, ну там какие-то барбеты, траверсы, капониры... а вы ведь в этом деле восходящая звезда первой величины. Но согласитесь же, полковник: разве мой юнкер может знать фортификацию меньше, чем на девять, тем более такой отличный юнкер? Краса и гордость училища. Уверяю вас, он будет самым достойным офицером. Но куда же ему в инженеры? Тут необходим талант и такая светлая голова, как у вас. Ну, согласитесь же с тем, что скрепя сердце все-таки можно моему юнкеру натянуть на девятку?

И полковник соглашался.

– Бог с ним, с этим сумбурным Епишкой... Уж лучше с ним не связываться.

Но странно: юнкерам был забавен Самохвалов своей закидливостью и своим фейерверочным темпераментом; ценили его преданность училищу и его гордость своими александровцами. Но в глубине души не любили и не уважали его одну несправедливую черту. Ублажая и распуская юнкеров, он с беспощадной, бурбонской жестокой грубостью обращался с подчиненными ему офицерами. Необыкновенно тяжелы были его взыскания, налагаемые на офицеров, но еще труднее им было переносить, в присутствии юнкеров, его замечания и выговоры, переходящие порой в бесстыдные ругательства, оскорблявшие и их и его честь.

Впрочем, на этой почве его ждало тяжелейшее возмездие. Первым вышел из терпения штабс-капитан Квалиев, грузин, герой турецкой кампании 1877—1878 годов, георгиевский кавалер, тяжело раненный при взятии Плевны, офицер, глубоко почитаемый юнкерами. После одной из безобразных выходок Самохвалова Квалиев пришел к нему на квартиру и потребовал от него объяснений (говорят, что от лица всех офицеров). В результате этого свидания было то, что Самохвалов оставил училище и был переведен командиром бригады на крайний юг России. Про Квалиева говорили мало и темно. Были вести, что он покончил впоследствии жизнь самоубийством.

Глава VII. Под знамя!

На земле, а может быть, почем знать, и в целом мироздании, существует один-единственный непреложный закон:

«Все на свете должно рано или поздно окончиться, и никто и ничто не избежит этого веления».

Через месяц окончилась казавшаяся бесконечной усиленная тренировка фараонов на ловкость, быстроту, красоту и точность военных приемов. Наступил момент, когда строгие глаза учителей нашли прежних необработанных новичков достаточно спелыми для высокого звания юнкера Третьего военного Александровского училища. Вскоре пронеслась между фараонами летучая волнующая весть: «В эту субботу будем присягать!»

Давно пригнанные парадные мундиры спешно, в последний раз, примерялись в цейхгаузах. За тяжелое время непрестанной гоньбы молодежь как будто выросла и осунулась, но уже сама невольно чувствует, что к ней начинает прививаться та военная прямизна и подтянутость, по которой так нетрудно узнать настоящего солдата даже в вольном платье.

Наступает суббота. В этот день учебные и иные занятия длятся только три часа, только до завтрака. Придя от завтрака в ротные помещения, юнкера находят разостланную служителями по постелям первосрочную, еще пахнущую портняжной мастерской одежду.

– Й-э, ж-живо одеваться! – командует Дрозд. – Й-э, чтобы ни морщинки, ни складочки!

Фельдфебель Рукин строит роту в две шеренги.

– С богом, – командует Дрозд.

Все четыре роты, четыреста человек, неторопливо выливаются на большой внутренний учебный плац и выстраиваются в двухвзводных колоннах: на правом фланге юнкера старшего курса с винтовками; на левом – первокурсники без оружия. Перед строем священники: православный – в черной сутане, с четырехугольной шапочкой на голове; лютеранский – в длинном, ниже колен, сюртуке, из воротника которого выступает большой белоснежный галстук; магометанский мулла – в бело-зеленой чалме. У ворот, ведущих в манеж и конюшню, расположился училищный оркестр. Ротные командиры и курсовые офицеры при своих ротах. Посередине и впереди батальонный командир Артабалеvский, по юнкерскому прозвищу Берди-Паша, узкоглазый, низко стриженный татарин; его скуластое, плотное лицо, его широкая спина и выпуклая грудь кажутся вылитыми из какого-то упругого огнеупорного материала.

Заметив издали начальника училища, выходящего из своей квартиры, он командует: «Смирно, глаза направо!» Начальник училища, генерал Анчутин, приближается к строю. Он необыкновенно высок, на целую голову выше правофлангового юнкера первой роты, и веско внушителен, пожалуй даже величествен. Юнкера его зовут Статуей Командора. И правда, он похож на Каменного гостя, когда изредка, не более пяти-шести раз в год, он проходит медленно и тяжело по училищному квадратному коридору, прямой, как башня, похожий на Николая I, именно на портрет этого императора, что висит в сборном зале; с таким же высоким куполообразным лбом, с таким же суровым и властным выражением лица. С юнкерами он никогда не здоровается вслух. Да у него и нет вовсе голоса, а какое-то слабое сипение.

Под Рущуком, командуя Ростовским гренадерским полком, он был ранен пулей в горло навылет и с тех пор дышит через серебряную трубку. За военные подвиги в Турецкую войну он был пожалован пожизненным ношением мундира Ростовского полка и почетным местом начальника Александровского училища. При его молчаливо-торжественном обходе юнкера поочередно делают ему глубокие придворные поклоны, которым их на уроках танцев беспрестанно учит балетмейстер Большого театра, Петр Алексеевич Ермолов. И в ответ на эти поклоны, строго выдержанные в три темпа, Анчутин только опускает и подымает веки... Впрочем, однажды Александрову довелось услышать хоть и очень краткую, но цельную речь ростовского генерала, которую он не забыл в течение всей своей жизни.

Напрягая все силы испорченных горловых связок, замогильным, шипящим голосом приветствует Анчутин батальон:

– Здравствуйте, юнкера!

Задним совсем не слышен его голос; они следят за движением губ; эта уловка была уже много раз заранее репетирована.

– Здравия желаем, ваше превосходительство!

Анчутин слегка, едва заметно, кивает головой священникам и делает глазами знак командиру батальона.

Полковник Артабалевский выходит перед серединой батальона. Азиатское лицо его напрягается.

– Под знамя! – командует он резким металлическим голосом и на секунду делает запятую. – Слушааай (небольшая пауза)... На крааа (опять пауза)... – И вдруг, коротко и четко, как удар конского бича: – ...ул!

Фараонам нельзя поворачивать голов, но глаза их круто скошены направо, на полубатальон второкурсников. Раз! Два! Три! Три быстрых и ловких дружных приема, звучащих, как три легких всплеска. Двести штыков уперлись прямо в небо; сверкнув серебряными остриями, замерли в совершенной неподвижности, и в тот же момент великолепный училищный оркестр грянул торжественный, восхищающий души, радостный марш.

Знамя показалось высоко над штыками, на фоне густо-синего октябрьского неба. Золотой орел на вершине древка точно плыл в воздухе, слегка подымаясь и опускаясь в такт шагам невидимого знаменщика.

Знамя остановилось у аналая. Раздалась команда: «На молитву! Шапки долой!» – И затем послышался негромкий тягучий голос батальонного священника, отца Иванцова-Платонова:

– Сложите два перста... вот таким вот образом, и подымите их вверх. Теперь повторяйте за мною слова торжественной военной присяги.

Юнкера зашевелились и сейчас же опять замерли с пальцами, устремленными в небо.

– Обещаюсь и клянусь, – произнес нараспев священник.

Точно ветер пробежал по рядам: «Обещаюсь, обещаюсь, клянусь, клянусь, клянусь...»

– Всемогущим Богом, перед святым его Евангелием.

И опять по строю пронесся густой, тихий ропот:

– Перед Богом, перед Богом...

– В том, что хочу и должен...

Формула присяги, составленная еще Петром Великим, была длинна, точна и строга. От иных ее слов становилось жутко.

«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащая права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять.

Его императорского величества государства и земель его врагов, телом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным над мною начальникам во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать; от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе

или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату) надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогуший. В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь».

Но еще страшнее были те выдержки из регламента, которые вслед за присягою стал вычитывать батальонный адъютант, поручик Лачинов, с волосами светлыми и курчавыми, как у барашка. Тут перечислялись всевозможные виды поступков и преступлений против военной дисциплины, против знамени и присяги. И после каждой строки тяжело падали вниз свинцовые слова:

– Смертная казнь... Смертная казнь!

Впечатлительный Александров успел уже раз десять вообразить себя приговоренным к смерти, и волосы у него на голове порою холодели и делались жесткими, как у ежа. Зато очень утешили и взбодрили его дух отрывки из статута ордена св. Георгия-победоносца, возглашенные тем же Лачиновым. Слушая их ушами и героическим сердцем, Александров брал в воображении редуты, заклепывал пушки, отнимал вражеские знамена, брал в плен генералов...

Затем юнкера целовали поочередно крест и Евангелие и возвращались на свои места.

– На-кройсь! – скомандовал Берди-Паша. – Под знамя, слушай, на кра-ул!

Знамя было унесено. Церемония присяги кончилась. Юнкера строем разошлись по ротным помещениям.

Стоя перед двумя шеренгами первокурсников, Дрозд говорит, слегка покачиваясь взад и вперед на носках:

– Ну-э-вот. Вы теперь настоящие юнкера. Поздравляю вас.

– Рады стараться, ваше высокоблагородие!

– Но все-таки вы-э-не забывайте, что настоящее ваше звание – солдаты. Солдат есть имя высокое и знаменитое. Первейший генерал, последний рядовой – то есть солдат. И потому помните, что за особо важный против дисциплины поступок каждый из вас может быть прямо из училища отправлен вовсе не домой к папе, маме, дяде и тете, а рядовым в пехотный полк... Надеюсь, в моей роте этого никогда не случится, как, впрочем, и во всем училище почти никогда не случалось... Но помните: за лень, невниманье, разнузданность, расхлябанность и особенно за ложь буду гнать и греть без всякой пощады. И за унылый вид – тоже. А теперь, кто хочет, могут идти в отпуск. Явиться завтра дежурному офицеру не позднее восьми часов вечера. За каждую минуту опоздания – одно лишнее дневальство. На улице держать себя молодцами и кавалерами. Отныне вы – под знаменем! Разойтись.

Как странно, как легко и как чудесно ново чувствовал себя Александров, очутившись на Знаменской улице, на людной и все-таки очень широкой Арбатской площади и, наконец, на Поварской с ее двухэтажными прекрасными аристократическими особняками! Натренированные ноги, делая большие и уверенные шаги, точно не касались тротуара. Веселило чувство красивого, ловко пригнанного, туго обтянутого мундира. Свежие тесные белые перчатки радовали руки и зрение. «Кому первому придется отдать честь?» – задумал Александров, и тотчас же из узкого переулочка навстречу ему вышел артиллерийский поручик. Александров тотчас же быстро приложил руку к бескозырке. Но артиллерист, мило улыбнувшись, принял честь и сказал:

– Опустите руку, господин юнкер. Ну, что? Я ошибаюсь или нет? Вы сегодня принимали присягу? Правда?

– Так точно, господин поручик. Как вы могли узнать?

– Ах, очень просто. По выражению лица. Я как увидел вас, так и сделал себе такое же лицо, и сразу подумал: вот такое выражение было у меня после присяги. И даже в том же милом Александровском училище. Ну, желаю вам всего хорошего. С богом!

Они крепко пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. «Какой, однако, душка этот маленький артиллерист», – с умилением подумал Александров.

Потом он сделал подряд две грубые ошибки. Стал – и даже очень красиво стал – во

фронт двум генералам: но один оказался отставным, а другой интендантским. Первый раза три или четыре торопливо ответил юнкеру отданием чести, а второй сказал ему густым приветливым баском: «Очень рад, молодой человек, очень, очень рад вас увидеть и с вами познакомиться».

Прошел месяц. Александровское училище давало в декабре свой ежегодный блестящий бал, попасть на который считалось во всей Москве большим почетом. Александров послал Синельниковым три билета (больше не выдавалось). В вечер бала он сильно волновался. У юнкеров было взаимное соревнование: чьи дамы будут красивее и лучше одеты.

Огромный сборный зал, свободно вмещавший четыреста юнкеров, был обращен в цветник, в тропический сад. Ротные курилки и умывалки обратились в изящные дамские уборные, знаменитый оркестр Крейнбринга уже настраивал под сурдинку инструменты.

Уже в двадцатый раз Александров перевешивался через массивные дубовые перила, заглядывая вниз в прихожую, застланную красным сукном, отыскивая своих дам, чтобы успеть помочь им раздеться. И вот наконец-то они. Пулею слетает Александров вниз. Но их только двое – Оля и Люба в сопровождении Петра Ивановича Боброва, какого-то молодого юриста, который живет у Синельниковых под видом дяди и почти никогда не показывается гостям. Он во фраке. На обеих девочках вязанные пышные капоры: на Оле голубой, на Любе розовый. Эти капоры новинка. Их только в нынешнем году начали носить в Москве, и они так же очаровательно идут к юным женским лицам, разбурянным морозом, как шли когда-то шляпки глубокой кибиточкой, завязанной широкими лентами. Пахнет от девочек вкусно – арбузом, морозом, духами иланг-иланг, и мехом шубок, и свежим дыханием. Они поправляются перед огромным зеркалом и идут за Александровым наверх.

– А что же Юлия Николаевна? – спрашивает юнкер.

– Она очень жалеет, что не может быть у вас на балу. Она сегодня очень занята. Она поздравляет вас с праздником и велела передать вам вот этот сверток. Там подарок вам на память. Возьмите.

Александров провожает дам в обширный зал. Оркестр нежно, вкрадчиво, заманчиво играет штраусовский вальс. Дамы Александра производят сразу блистательное впечатление.

Юнкера, как пчелы, облепляют их.

У Александра остается свободная минутка, чтобы побежать в свою роту, к своему шкафчику. Там он разворачивает белую бумагу, в которую заворочена небольшая картонка. А в картонке на ватной постельке лежит фарфоровая голубоглазая куколка. Он ищет письмо. Нет, одна кукла. Больше ничего.

Он возвращается в зал. Ольга свободна. Он приглашает ее на вальс. Гибко, положив нагую руку на его плечо и слегка грациозно склонив голову, она отдается волшебному ритму вальса, легко кружась в нем. Глаза их на мгновение встречаются. В глазах ее томное упоение.

– Теперь я скажу вам о вашей Юлии, – шепчет она горячим и ароматным дыханием. – У нас сегодня помолвка. Юлия выходит замуж за Покорни.

И сам Александров удивляется своему спокойствию, с которым он встречает эту черную весть. Он таким же горячим шепотком говорит:

– Дай ей бог счастья. Но мне это все равно. Я давно уже и до смерти люблю вас, Оля.

И она отвечает, поправляя свои разбежавшиеся кудряшки:

– Ах! Если бы я могла этому верить!

И задорно смеется.

Глава VIII. Торжество

Прошло около двух месяцев со вступления Александра в белые стены училища. Хотя он еще долгое время, как юнкер младшего класса, будет носить общее прозвище «фараон» (старший курс – это господа обер-офицеры), но из него уже вырабатывается настоящий юнкер-александровец. Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движениях. Он гордится

своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть, и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва – Москва, которая так пристрастно и ревниво любит все свое, в пику чиновному и холодному Петербургу: своих лихачей, протодиаконов, певцов, актеров, кулачных бойцов, купцов, профессоров, певчих, поваров, архиереев и, конечно, своих стройных, молодых, всегда прекрасно одетых, вежливых юнкеров со Знаменки, с их чудесным, несравненным оркестром.

Живется юнкерам весело и свободно. Учиться совсем не так трудно. Профессора – самые лучшие, какие только есть в Москве. Искусство строевой службы доведено до блестящего совершенства, но оно не утомляет: оно граничит со спортивным соревнованием. Правда, его однообразие чуть-чуть прискучивает, но домашние парады с музыкой в огромном манеже на Моховой вносят и сюда некоторое разнообразие. А кроме того, строевое старание поддерживается далекой, сладкой, сказочной мечтой о царском смотре или царском параде. Каждому юнкеру втайне кажется несправедливостью судьбы, что государь живет не в Москве, а в Питере. Но об этом не говорят.

В октябре 1888 года по Москве разнесся слух о крушении царского поезда около станции Борки. Говорили смутно о злом покушении. Москва волновалась. Потом из газет стало известно, что катастрофа чудом обошлась без жертв. Повсюду служились молебны, и на всех углах ругали вслух инженеров с подрядчиками. Наконец пришли вести, что Москва ждет в гости царя и царскую семью: они приедут поклониться древним русским святыням.

Все эти слухи и вести проникают в училище. Юнкера сами не знают, чему верить и чему не верить. Как-то нелепо странна, как-то уродливо неправдоподобна мысль, что государю, вершинной, единственной точке той великой пирамиды, которая зовется Россией, может угрожать опасность и даже самая смерть от случайного крушения поезда. Значит, выходит, что и все существование такой необъятно большой, такой неизмеримо могучей России может зависеть от одного развинтившегося дорожного болта.

Утром, после переклички, фельдфебель Рукин читает приказ: «По велению государя императора встречающие его части Московского гарнизона должны быть выведены без оружия. По распоряжению коменданта г. Москвы войска выстроятся шпалерами в две шеренги от Курского вокзала до Кремля. Александровское военное училище займет свое место в Кремле от Золотой решетки до Красного крыльца. По распоряжению начальника училища батальон выйдет из помещения в 11 час.».

Ровно в полдень в центре Кремля, вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого толстым красным сукном, выстраиваются четыре роты юнкеров Третьего военного Александровского училища. Четыреста юношей в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Юнкер четвертой роты Алексей Александров стоит в первой шеренге. Царь пройдет мимо него в трех-четырех шагах, ясно видимый, почти осязаемый. Воображению Александра «царь» рисуется золотым, в готической короне, «государь» – ярко-синим с серебром, «император» – черным с золотом, а на голове шлем с белым султаном.

Ждут долго. Вывели за два часа, по необычайному случаю. Еще в училище свои портупей-юнкера и ротные офицеры осматривали каждого с заботливостью матери, отправляющей шестнадцатилетнюю дочь на первый бал. Теперь в Кремле нет-нет подойдет курсовой офицер, одернет складку шинели, поправит поясную медную бляху с изображением пылающей гранаты, надвинет еще круче на правый глаз круглую барашковую шапку с начищенным двуглавым орлом. Государь, конечно, все заметит своим сверхчеловеческим взором: и недотянутый конец башлыка, и неровно надетую шапку, и вздувшуюся складку. Заметит, но никому не скажет, только огорчится на александровцев. Сияет над Кремлем голубое холодное небо. Золото солнца расплескалось на соборных куполах, высоко кружатся голуби. Осенний запах.

Ожидание не томит. Все радостно и легко возбуждены. Давно знакомые молодые лица

кажутся совсем новыми; такими они стали свежими, ясными и значительными, разбурмачившись и похорошев в крепком осеннем воздухе.

В голове как шампанское. Скользит смутно одна опасливая мысль: так необыкновенно, так нетерпеливо волнуют эти счастливые минуты, что, кажется, вдруг переборщишь в ожидании, вдруг не хватит чего-то у тебя для самого главного, самого большого.

И вот какое-то внезапное беспокойство, какая-то быстрая тревога пробегает по расстроенным рядам. Юнкера сами выпрямляются и подтягиваются без команды. Ухо слышит, что откуда-то справа далеко-далеко раздается и нарастает особый, до сих пор неразличимый шум, подобный гулу леса под ветром или прибою невидимого моря.

Командуют «смирно». Выравнивают. Опять «смирно». Потом на минуту «вольно». Опять «смирно». Позволяют размять ноги, не передвигая ступней. Так без конца. Так бывает всегда на парадах. Но на этот раз из юнкеров никто не обижается.

Какими словами мог бы передать юнкер Александров это медленно наплывающее чудо, которое должно вскоре разрешиться бурным восторгом, это страстное напряжение души, растущее вместе с приближающимся ревом толпы и звоном колоколов. Вся Москва кричит и звонит от радости. Вся огромная, многолюдная, крепкая старая царица Москва. Звонят и Благовещенский, и Успенский соборы, и Спас за решеткой, и, кажется, загремел сам Царь-колокол и загрохотала сама Царь-пушка!

А когда в этот ликующий звуковой ураган вплетают свои веселые медные звуки полковые оркестры, то кажется, что слух уже пресыщен – что он не вместит больше.

Новот заиграл на правом фланге и их знаменитый училищный оркестр, первый в Москве. В ту же минуту в растворенных настежь сквозных золотых воротах, высясь над толпой, показывается царь. Он в светлом офицерском пальто, на голове круглая низкая барашковая шапка. Он величествен. Он заслоняет собою все окружающее. Он весь до такой степени исполнен нечеловеческой мощи, что Александров чувствует, как гнется под его шагами массивный дуб помоста.

Царь все ближе к Александрову. Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Видит его глаза, прямо и ласково устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой песок, льется из его глаз.

Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой, собралась и получила непоколебимое, единственное, железное утверждение. И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига.

Около государя идет наследник. Александров знает, что наследник на целый год старше его, но рядом с отцом цесаревич кажется худеньким стройным мальчиком. Это сопоставление великолепного тяжкого мужского могущества с отроческой гибкой слабостью на мгновение пронизывает сердце юнкера теплой, чуть-чуть жалостливой нежностью.

Теперь он не упускает из вида спины государя, но острый взгляд в то же время щелкает своим верным фотографическим аппаратом. Вот царица. Она вовсе маленькая, но какая изящная. Она быстро кланяется головой в обе стороны, ее темные глаза влажны, но на губах легкая милая улыбка.

Видит он еще двух великих княжен. Одна постарше, другая почти девочка. Обе в чем-то светлом. У обеих из-под шляпок падают до бровей обрезанные прямой челочкой волосы. Младшая смеется, блестит глазами и зажимает уши: оглушительно кричат юнкера славного Александровского училища.

Но вот и проходит волшебное сновидение. Как чересчур быстро! У всех юнкеров бурное напряжение сменяется тихой счастливой усталостью. Души и тела приятно распускаются. Идут домой под звуки резвого, бодрого марша. Кто-то говорит в рядах:

– Государь все время на меня глядел, когда проходил мимо. Я думаю, целых полминуты.

Другой отзывается:

– А на меня, пожалуй, целую минуту.

Александров же думает про себя: «Говорите, что хотите, а на меня царь глядел не отрываясь целых две с половиной минуты. И маленькая княжна взглянула смеясь. Какая она прелесть!»

Во дворе училища командир батальона, полковник Артабалеvский, он же Берди-Паша, задерживает на самое короткое время юнкеров в строю.

– Конечно, великое счастье узреть его императорское величество государя императора, всероссийского монарха. Однако никак нельзя высовывать вперед головы и разрознивать этим равнение... Государь пожаловал нам два дня отдыха. Ура его императорскому величеству!

Глава IX. Свой дом

Проходят дни, проходят недели... Юнкер четвертой роты, первого курса Третьего военного Александровского училища Александров понемногу, незаметно для самого себя, втягивается в повседневную казарменную жизнь, с ее точным размеренным укладом, с ее внутренними законами, традициями и обычаями, с привычными, давнишними шутками, песнями и проказами. Недавняя торжественная присяга как бы стерла с молодых фараонов последние следы ребяческого, полустатского кадетства, а парад в Кремле у Красного крыльца объединил всех юнкеров в духе самоуверенности, военной гордости, радостной жертвенности, и уже для него училище делалось «своим домом», и с каждым днем он находил в нем новые маленькие прелести. Разрешалось курить в свободное время между занятиями. Для этого в каждой роте полагалась отдельная курилка: признание юнкерской взрослости. После обеда можно было посылать служителя за пирожными в соседнюю булочную Савостьянова. Из отпуска нужно было приходить секунда в секунду, в восемь с половиной часов, но стоило заявить о том, что пойдешь в театр, – отпуск продолжается до полуночи. По большим праздникам юнкеров, оставшихся в училище, часто возили в цирк, в театр и на балы. Отношения с начальством утверждались на правдивости и широком взаимном доверии. Любимчиков не было, да их и не потерпели бы. Случались офицеры слишком строгие, придирчивые трынчики, слишком скорые на большие взыскания. Их терпели как божью кару и травили в ядовитых песнях. Но никогда ни один начальник не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут щетинилось все училище.

Помещение училища (бывшего дворца богатого вельможи) было, пожалуй, тесновато для четырехсот юнкеров в возрасте от восемнадцати до двадцати лет и для всех их потребностей. В середине полуторазтажного здания училища находился большой, крепко утрамбованный четырехугольный учебный плац. Со всех сторон на него выходили высокие крылья четырех ротных помещений. Впоследствии Александрова часто удивляла и даже порою казалась невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между третьей и четвертой ротами вмещался обширный сборный зал, легко принимавший в себя весь наличный состав училища, между первой и второй ротами – восемь аудиторий, где читались лекции, и четыре большие комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще: домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический и фехтовальный залы.

В нижнем полуэтаже жил офицерский состав: холостые с денщиками, женатые с семьями и прислугой, четверо ротных командиров, инспектор классов, батальонный командир, начальник училища, батальонный адъютант, священник с причтом, доктор с

фельдшерами. Была, конечно, и многолюдная канцелярия. Но никто не знал, где она находится. Также неизвестно было юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь: все эти прачки, полотеры, музыканты, ламповщики, служители, портные, дворники, швейцары, истопники и повара. Вследствие такого обилия людей всюду чувствовалась некоторая сжатость. Учить лекции и делать чертежи приходилось в спальне, сидя боком на кровати и опираясь локтями на ясеневый шкафчик, где лежали обувь и туалетные принадлежности. По ночам тяжело было дышать, и приходилось открывать форточки на улицу. Но – пустяки! Все переносила весело крепкая молодежь, и лазарет всегда пустовал, разве изредка – ушиб или вытяжение жилы на гимнастике, или, еще реже, такая болезнь, о которой почему-то не принято говорить.

Как всегда во всех тесных общежитиях, так и у юнкеров не переводился – большей частью невинный, но порою и жестокий – обычай давать летучие прозвища начальству и соседям. К этой языкатой травле очень скоро и приучился Александров.

Первая рота, которая нарочно подбиралась из молодежи высокого роста и выдающейся стройности, носила официальное название роты его императорского величества и в отличие от других имела серебряный вензель на мундирных погонах. Упрощенный ее титул был: жеребцы его величества.

Ею командовал капитан Алкалаев-Калагеоргий, но юнкера как будто и знать не хотели этого старого боевого громкого имени. Для них он был только Хухрик, а немного презрительнее – Хухра.

Никто из всех юнкеров училища не сумел бы объяснить, что означает это загадочное слово – Хухрик: маленького ехидного зверька, или мех, или какое-то колючее растение, или злоторный настой, или особую болезнь вроде чирья. Однако с этим прозвищем была связана маленькая легенда. Однажды батальон Александровского училища на пробном маневре совершал очень длинный и тяжелый переход. Юнкера со скатанными шинелями и с ранцами с полной выкладкой, шанцевым инструментом и частями разборных палаток чуть не падали от зноя, усталости и жажды. Запотелые их лица, густо покрытые черноземной мягкой пылью, были черны, как у негров, и так же, как у негров, блестели на них покрасневшие глаза и сверкали белые крепкие зубы.

Наконец-то долгожданный привал. «Стой. Составь ружья. Оправиться!» – раздается в голове колонны команда и передается из роты в роту. Богатая подмосковная деревня. Зелень садов и огородов, освежающая близость воды. Крестьянские бабы и девушки высыплют на улицу и смеются. Охотно таскают воду из холодного колодца, дают юнкерам вволю напиться; льют и плескают воду им на руки, обмыть горячие лица и грязные физиономии. Притащили яблок, слив, огурцов, сладкого гороха, суют в руки и карманы. Веселый смех, непринужденные шутки и прикосновения. Всегдашняя извечная сказочная симпатия к солдату и жалость к трудности его подневольной службы.

– И как это вы, бедные солдатики, страдаете? Жарища-то, смотри, кака адова, а вы в своей кислой шерсти, и ружья у вас аки тяжеленные. Нам не вподъем. На-ко, на-ко, солдатик, возьми еще яблочко, полегче станет.

Конечно, эта ласка и «жаль» относилась большей частью к юнкерам первой роты, которые оказывались и ростом поприметнее и наружностью покраше. Но командир ее Алкалаев почему-то вознегодовал и вскипел. Неизвестно, что нашел он предосудительного в свободном ласковом обращении веселых юнкеров и развязных крестьянок на открытом воздухе, под пылающим небом: нарушение ли какого-нибудь параграфа военного устава или порчу моральных устоев? Но он зашестинился и забубнил:

– Сейчас же по местам, юнкера. К винтовкам. Стоять вольно-а, рядов не разравнивать!

– Таратов, чему вы смеетесь? Лишнее дневальство! Фельдфебель, запишите!

Потом он накинулся было на ошалевших крестьянок.

– Чего вы тут столпились? Чего не видали? Это вам не балаган. Идите по своим делам, а в чужие дела нечего вам соваться. Ну, живо, кыш-кыш-кыш!

Но тут сразу взъерепенилась крепкая, красивая, румяная сквозь веснушки, языкатая

бабенка:

– А тебе что нужно? Ты нам что за генерал? Тоже кышкает на нас, как на кур! Ишь ты, хухрик несчастный! – И пошла, и пошла... до тех пор, пока Алкалаев не обратился в позорное бегство. Но все-таки метче и ловче словечка, чем «хухрик», она в своем обширном словаре не нашла. Может быть, она вдохновенно родила его тут же на месте столкновения?

«И в самом деле, – думал иногда Александров, глядя на случайно проходившего Калагеоргия. – Почему этому человеку, худому и длинному, со впадинами на щеках и на висках, с пергаментным цветом кожи и с навсегда унылым видом, не пристало бы так клейко никакое другое прозвище? Или это свойство народного языка, мгновенно изобретать ладные словечки?»

Курсовыми офицерами в первой роте служили Добронравов и Рославлев, поручики. Первый почему-то казался Александрову похожим на Добролюбова, которого он когда-то пробовал читать (как писателя запрещенного), но от скуки не дотянул и до четверти книги. Рославлев же был увековечен в прощальной юнкерской песне, являвшейся плодом коллективного юнкерского творчества, таким четверостишием:

Прощай, Володька, черт с тобою,
Развратник, пьяница, игрок.
Недаром дан самой судьбою
Тебе хронический порок.

Этот Володька был велик ростом и дороден. Портили его массивную фигуру ноги, расходившиеся в коленях наружу, иксом. Рассказывали про него, что однажды он, на пьяное пари, остановил ечкинскую тройку на ходу, голыми руками. Он был добр и не придирчив, но симпатиями у юнкеров не пользовался. Из ложного молодечества и чтобы подольститься к молодежи, он часто употреблял грязные, похабные выражения, а этого юнкера в частном обиходе не терпели, допуская непечатные слова в прощальную песню, называвшуюся также звериадой. Надо сказать, что это заглавие было плагиатом. Оно какими-то неведомыми путями докатилось в белый дом на Знаменке из Николаевского кавалерийского училища, где существовало со времен лермонтовского юнкерства.

Московская звериада вдохновлялась музою хромой и неизобретательной, домашняя же ее поэзия была суковатая...

Володька Рославлев прервал свою начальственно-педагогическую деятельность перед Японской войною, поступив в московскую полицию.

Вторую роту звали зверями. В нее как будто специально поступали юноши крепко и широко сложенные, также рыжие и с некоторою корявостью. Большинство носило усики, усы и даже усищи. Была и молодежь с короткими бородами (времена были Александра Третьего).

Отличалась она серьезностью, малой способностью к шутке и какой-то (казалось Александрову) нелюдимостью. Но зато ее юнкера были отличные фронтовики, на парадах и батальонных учениях держали шаг твердый и тяжелый, от которого сотрясалась земля. Командовал ею капитан Клоченко, ничем не замечательный, аккуратный службист, большой, морковно-рыжий и молчаливый. Звериада ничего не могла про него выдумать острого, кроме следующей грубой и мутной строфы:

Прощай, Клоченко, рыжий пес,
С своею рожею ехидной.
Умом до нас ты не дорос,
Хотя мужчина очень видный.

Почему здесь состязание в умах – непонятно. А ехидности в наружности Клоченки никакой не наблюдалось. Простое, широкое, голубоглазое (как часто у рыжих) лицо

примерного армейского штаб-офицера, с привычной служебной скукой и со спокойной холодной готовностью к исполнению приказаний.

Курсовым офицером служил капитан Страдовский, по-юнкерски – Страделло, прибывший в училище из императорских стрелков. Был он всегда добр и ласково-весел, но говорил немного. Напуск на шароварах доходил у него до сапожных носков.

Был он мал ростом, но во всем Московском военном округе не находилось ни одного офицера, который мог бы состязаться со Страдовским в стрельбе из винтовки. К тому же он рубился на эспадронах, как сам пан Володыевский из романа «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича, и даже его малорослость не мешала ему побеждать противников.

Уже одного из этих богатых даров достаточно было бы, чтобы приобрести молчаливую любовь всего училища.

Третья рота была знаменная. При ней числилось батальонное знамя. На смотрах, парадах, встречах, крещенском водосвятии и в других торжественных случаях оно находилось при третьей роте. Обыкновенно же оно хранилось на квартире начальника училища.

Знаменная рота всегда на виду, и на нее во время торжеств устремляются зоркие глаза высшего начальства. Потому-то она и составлялась (особенно передняя шеренга) из юношей с наиболее красивыми и привлекательными лицами. Красивейший же из этих избранных красавцев, и непременно портупей-юнкер, имел высочайшую честь носить знамя и называться знаменщиком. В том году, когда Александров поступил в училище, знаменщиком был Кениг, его однокорпусник, старше его на год.

В домашнем будничном обиходе третья рота называлась «мазочки» или «девочки». Ею уже давно командовал капитан Ходнев, неизвестно когда, чем и почему прозванный Варварой, – смуглый, черноволосый, осанистый офицер, никогда не смеявшийся, даже не улыбнувшийся ни разу; машина из стали, заведенная однажды на всю жизнь, человек без чувств, с одним только долгом. Говорил он четким, приятного тембра баритоном и заметно в нос. Ни разу никто не видел его сердитым, и ни разу он не повысил голоса. Передавал ли он, по обязанности, похвалу юнкеру, или наказывал его – все равно, тон Варвары звучал одинаково точно и бесстрастно. Его не то чтобы боялись, но никому и в голову не приходило ослушаться его одного стального, магнетического взора. Таких вот людей умел живописать краткими резкими штрихами покойный Виктор Гюго. И юнкера в своей звериаде, по невольному чутью, сдержали обычную словоохотливость.

Прощай, Варвара-командир,
Учитель правил и сноровок,
Теперь надели мы мундир,
Не надо нам твоих муштровок.

Из курсовых офицеров третьей роты поручик Темирязов, красивый, стройный светский человек, был любимцем роты и всего училища и лучше всех юнкеров фехтовал на рапирах. Впрочем, и с самим волшебником эскрима, великим Пуарэ, он нередко кончал бой с равными количествами очков.

Но другой курсовой представлял собою какое-то печальное, смешное, вздорное и случайное недоразумение. Он был поразительно мал ростом, гораздо меньше самого левофлангового юнкера четвертой роты, и притом коротконог. В довершение он был толст, и шея у него сливалась с подбородком. Благодаря тесному мундиру лицо его имело багрово-красный цвет. Фамилия его была хорошая и очень известная в Москве – Дубышкин. Но вот он и остался навеки Пупом, и даже в звериаде о нем не было упомянуто ни слова. С него достаточно было одного прозвища – Пуп.

Пуп не был злым, а скорее мелким по существу. Но был он необычайно, непомерно для своего ничтожного роста вспыльчив и честолобив. Говоря с начальством или сердясь на юнкеров, он совсем становился похожим на индюка: так же он надувался, краснел до

лилового цвета, шипел и, теряя волю над словом, болботал путаную ерунду. В те дни, когда Александров учился на первом курсе, у всех старых юнкеров пошла повальная мода пускать Пупу ракету. Кто-нибудь выдумывал смешную глупость, например: «Когда я был маленьким, я спал в папашиной галоше», или: «Ваше превосходительство, юнкер Пистолетов носом застрелился», или еще: «Решительно все равно: что призма и что клизма – это все из одной мифологии» и т. д. Этот вздор автор громко выкрикивал, подражая индюшечьему голосу Дубышкина, и тотчас же принимался со всей силой легких выдувать сплошной шипящий звук. Полагалось, что это взлетела ракета, а чтобы ее лёт казался еще правдоподобнее, пиротехник тряс перед губами ладонью, заставляя звук вибрировать. Наконец, достигнув предельной высоты, ракета громко взрывалась: «Пуп!»

Надо сказать, что этот злой фейерверк пускался всегда с таким расчетом, чтобы Пуп его услышал. Он слышал, злился, портил себе кровь и характер, и, в сущности, нельзя было понять, за что взрослые балбесы травят несчастного смешного человека.

Четвертая рота, в которой имел честь служить и учиться Александров, звалась... то есть она называлась... ее прозвание, за малый рост, было грубо по смыслу и оскорбительно для слуха. Ни разу Александров не назвал его никому постороннему, ни даже сестрам и матери. Четвертую роту звали... «блохи». Кличка несправедливая: в самом малорослом юнкере было все-таки не меньше двух аршин с четырьмя вершками.

Но существует во всей живущей, никогда не умирающей мировой природе какой-то удивительный и непостижимый закон, по которому заживают самые глубокие раны, срастаются грубо разрубленные члены, проходят тяжкие инфекционные болезни, и, что еще поразительнее, – сами организмы в течение многих лет вырабатывают средства и орудия для борьбы со злейшими своими врагами.

Не по этому ли благодетельному инстинктивному закону четвертая рота Александровского училища с незапамятных времен упорно стремилась перегнать прочие роты во всем, что касалось ловкости, силы, изящества, быстроты, смелости и неутомимости. Ее юнкера всегда бывали первыми в плавании, в верховой езде, в прыганье через препятствия, в беге на большие дистанции, в фехтовании на рапирах и эспадронах, в рискованных упражнениях на кольцах и турниках и в подтягивании всего тела вверх на одной руке. И надо еще сказать, что все они были страстными поклонниками циркового искусства и нередко почти всей ротой встречались в субботу вечером на градене цирка Соломонского, что на Цветном бульваре. Их тянули к себе, восхищали и приводили в энтузиазм те необычайные акробатические трюки, которые на их глазах являлись чудесным преодолением как земной тяжести, так и инертности человеческого тела.

Ближайшее ротное начальство относилось к этому увлечению высшей гимнастикой не с особенным восторгом. Дрозд всегда опасался того, что от злоупотребления ею бывают неизбежные ушибы, поломы, вывихи и растяжения жил. Курсовой офицер Николай Васильевич Новоселов, прозванный за свое исключительное знание всевозможных военных указов, наказов и правил Уставчиком, ворчал недовольным голосом, созерцая какую-нибудь «чертову мельницу»: «И зачем? И для чего? В наставлении об обучении гимнастике ясно указаны все необходимые упражнения. А военное училище вам не балаган, и привилегированные юнкера – вовсе не клоуны».

Второй курсовой офицер Белов только покачивал укоризненно головой, но ничего не говорил. Впрочем, он всегда был молчалив. Он вывез с Русско-турецкой войны свою жену, болгарку – даму неопишуемой, изумительной красоты. Юнкера ее видели очень редко, раза два-три в год, не более, но все поголовно и молча преклонялись перед нею. Оттого и личность ее супруга считалась неприкосновенной, окруженной чарами всеобщего табу.

К толстому безмолвному Белову не прилипло ни одно прозвище, а на красавицу, по общему неписаному и несказанному закону, положено было долго не засматриваться, когда она проходила через плац или по Знаменке. Также запрещалось и говорить о ней.

Рыцарские обычаи.

Глава X. Вторая любовь

Конечно, самый главный, самый волнующий визит новоиспеченного юнкера Александрова предназначался в семью Синельниковых, которые давно уже переехали с летней дачи в Москву, на Гороховую улицу, близ Земляного вала, в двух шагах от крашенного в фисташковый цвет Константиновского межевого института. Давно влюбленное сердце юноши горело и нетерпеливо рвалось к ней, к волоокой богине, к несравненной, единственной, прекрасной Юленьке. Показаться перед нею не жалким мальчишкой-кадетом, в неуклюже пригнанном пальто, а стройным, ловким юнкером славного Александровского училища, взрослым молодым человеком, только что присягнувшим под батальонным знаменем на верность вере, царю и отечеству, – вот была его сладкая, тревожная и боязливая мечта, овладевавшая им каждую ночь перед падением в сон, в те краткие мгновенья, когда так рельефно встает и видится недавнее прошлое...

Белые замшевые тугие перчатки на руках; барашковая шапка с золотым орлом лихо надвинута на правую бровь; лакированные блестящие сапоги; холодное оружие на левом боку; отлично сшитый мундир, ладно, крепко и весело облегающий весь корпус; белые погоны с красным витым вензелем «А II»; золотые широкие галуны; а главное – инстинктивное сознание своей восемнадцатилетней счастливой ловкости и легкости и той самоуверенной жизнерадостности, перед которой послушно разворачивается весь мир, – разве все эти победоносные данные не тронут, не смягчат сердце суровой и холодной красавицы?.. И все-таки он с невольной ребяческой робостью отдалял и отдалял день и час свидания с нею.

Он до сих пор не мог ни понять, ни забыть спокойных деловых слов Юленьки в момент расставания, там, в Химках, в канареечном уголку между шкафом и пианино, где они так часто и так подолгу целовались и откуда выходили потом с красными пятнами на лицах, с блестящими глазами, с порывистым дыханием, с кружащейся головой и с растрепанными волосами.

Прощаясь, она отвела его руку и сказала голосом наставницы:

– Забудем эти глупые шалости летнего сезона. Теперь мы обое стали большими и серьезными.

И, протягивая ему руку, она сказала:

– Останемся же добрыми друзьями.

Но почему же этот жестокий, оскорбительный удар был так непредвиденно внезапен? Еще три дня назад, вечером, они сидели в густой пахучей березовой роще, и она сказала тихо:

– Тебе так неудобно. Положи голову мне на колени.

Ах, никогда в жизни он не позабудет, как его щека ощутила шершавое прикосновение тонкого и теплого молдаванского полотна и под ним мраморную гладкость крепкого женского бедра. Он стал целовать сквозь материю эту мощную и нежную ногу, а Юлия, точно в испуге, горячо и быстро шептала:

– Нет... Так не надо... Так нельзя.

И в это время гладила ему волосы и прижимала его *губы* к своему телу.

А разве может когда-нибудь изгладиться из памяти Александрова, как иногда, во время бешено крутящегося вальса, Юлия, томно закрывши глаза, вся приникала вплотную к нему, и он чувствовал через влажную рубашку живое, упругое прикосновение ее крепкой девической груди и легкое щекотание ее маленького твердого соска... О, волшебная власть воспоминаний! А теперь Юлия говорит, точно старая дева, точно классная учительница: «Ах, будемте друзьями». В знойный день человек изнывает от жары и жажды. Губы, рот и гортань у него засохли. А ему вдруг вместо воды дают совет: положи камешек в рот, это обманывает жажду.

Но почему же это отчуждение и этот спокойный холод? Это благоразумие из прописи? Может быть, он надоел ей? Может быть, она влюбилась в другого? Может быть, и в самом

деле Александров был для нее только дразнящей летней игрушкой, тем, что теперь начинает называться странным чужим словом – флирт? И, вероятно, никогда бы она не согласилась выйти замуж за пехотного офицера, у которого, кроме жалования – сорок три рубля в месяц, – нет больше решительно никаких доходов. Правда, она прогнала от себя долговязого, быстроногого Покорни, но мало ли еще в Москве богатых женихов, и вот, в ожидании одного из них, она решила сразу прекратить полуневинную, полудетскую забаву.

Но может быть и то, что мать трех сестер Синельниковых, Анна Романовна, очень полная, очень высокая и до сих пор еще очень красивая дама, узнала как-нибудь об этих воровских поцелуйчиках и задала Юленьке хорошую нахлобучку? Недаром же она в последние химкинские дни была как будто суха с Александровым: или это только теперь ему кажется?

Конечно, всего скорее могла донести матери младшая дочка, четырнадцатилетняя лупоглазая Любочка, большая егоза и ябедница, шантажистка и вымогательница. Зоркие ее глаза видели сквозь стены, а с ней, как с «маленькой», мало стеснялись. Когда старшие сестры не брали ее с собой на прогулку, когда ей необходимо было выпросить у них ленточку, она, устав клянчить, всегда прибегала к самому ядовитому приему: многозначительно кивала головой, загадочно чмокала языком и говорила протяжно:

– Хо-ро-шо же. А я маме скажу.

– Что ты скажешь, дура? Никто тебе не поверит. Мы сами скажем, что ты с гимназистом Чулковым целовалась в курятнике.

– И никто вам не поверит, потому что я маленькая, а мне все поверят, потому что устами младенцев сама истина глаголет... Что, взяли?

В конце концов она добивалась своего: получала пятак и ленту и, скучая, тащилась за сестрами по пыльной дороге.

Вот эта-то стрекоза и могла наболтать о том, что было, и о том, чего не было. Но какой стыд, какой позор для Александрова! Воспользоваться дружбой и гостеприимством милой, хорошей семьи, уважаемой всей Москвой, и внести в нее потаенный разврат... Нет, уж теперь к Синельниковым нельзя и глаз показать и даже квартиру их на Гороховой надо обегать большим крюком, подобно неудачливому вору.

И как же удивлен, потрясен и обрадован был юнкер Александров, когда в конце октября он получил от самой Анны Романовны письмецо такого крошечного размера, который заставил невольно вспомнить о ее рыхлом тучном теле.

«Дорогой Алексей Николаевич (не решаюсь назвать Алешей юнкера Александровского училища, где, кстати, имел счастье учиться покойный муж). Что вы забыли ваших старых друзей? Приходите в любую субботу, и лучше всего в ближнюю. Мы живем по-прежнему на Гороховой. Девочки мои по вас соскучились. Можете привести с собой двух, трех товарищей; чем больше, тем лучше. Потанцуете, попоете, поиграете в разные игры... Ждем.

Ваша А. С.

Р. С. К 7-ми – 7-ми с пол. час...»

Не без труда удалось Александрову получить согласие у двух товарищей: каждый юнкер дорожил семейным субботним обедом и домашним вечером. Согласились только: его отделенный начальник, второкурсник Андриевич, сын мирового судьи на Арбате, в семье которого Александров бывал не раз, и новый друг его Венсан, полуфранцуз, но по внешности и особенно по горбтому храброму носу – настоящий бордосец; он прибыл в училище из третьего кадетского корпуса и стоял в четвертой роте правофланговым. Ходил он в отпуск к мачехе, которую терпеть не мог.

В субботу юнкера сошлись на Покровке, у той церкви с короною на куполе, где венчалась императрица Елизавета с Разумовским. Оттуда до Гороховой было рукой подать.

Александров начал неловко чувствовать себя, чем-то вроде антрепренера или хлопотливого дальнего родственника. Но потом эта мнительность стерлась, отошла сама собою. Была какая-то особенная магнетическая прелесть и неизъяснимая атмосфера общей влюбленности в этом маленьком деревянном уютном домике. И все женщины в нем были красивы; даже часто менявшиеся и всегда веселые горничные.

подавали на стол, к чаю, красное крымское вино, тартинки с маслом и сыром, сладкие сухари. Играл на пианино все тот же маленький, рыжеватый, веселый Панков из консерватории, давно сохнувший по младшей дочке Любе, а когда его не было, то заводили механический музыкальный ящик «Монопан» и плясали под него. В то время не было ни одного дома в Москве, где бы не танцевали при всяком удобном случае, до полной усталости.

Дом Синельниковых стал часто посещаться юнкерами. Один приводил и представлял своего приятеля, который в свою очередь тащил третьего. К барышням приходили гимназические подруги и какие-то дальние московские кузины, все хорошенькие, страстные танцорки, шумные, задорные пересмешницы, бойкие на язык, с блестящими глазами, хохотушки. Эти субботние непринужденные вечера пользовались большим успехом.

Так, часто в промежутках между танцами играли в *petits jeux*, в фанты, в свои соседи, в почту, в жмурки, в «барыня прислала», в «здравствуйте, король» и в прочие.

Величественная Анна Романовна почти всегда присутствовала в зале, сидя в большом вольтеровском кресле и грея ноги в густой шерсти умного и кроткого сенбернара Вольфа. Точно с высоты трона, она следила за молодежью с благосклонной поощрительной улыбкой. Ее старшая дочь Юлия была поразительно на нее похожа: и красивым лицом, и большим ростом, и даже будущей склонностью к полноте. Конечно, Александров все еще продолжал уверять себя в том, что он до сих пор влюблен безнадежно в жестокую и что молодое сердце его разбито навсегда.

Но ему уже не удавалось порой обуздывать свою острую и смешливую наблюдательность. Глядя иногда поочередно на свою богиню и на ее мать и сравнивая их, он думал про себя: «А ведь очаровательная Юленька все толстеет и толстеет. К двадцати годам ее уже разнесет, совсем как Анну Романовну. Воображаю, каково будет положение ее мужа, если он захочет ласково обнять ее за талию и привлечь к себе на грудь. А руки-то за спиной никак не могут сойтись. Положение!»

Правда, Александров тут же ловил себя с раскаянием на дурных и грубых мыслях. Но он уже давно знал, какие злые, нелепые, уродливые, бесстыдные, позорные мысли и образы теснятся порою в уме человека против его воли.

Но от прошлого он никак не мог отвязаться. Ведь любила же его Юленька... И вдруг в один миг все рухнуло, все пошло прахом, бедный юнкер остался в одиночестве среди просторной и пустой дороги, протягивая руку, как нищий, за подаванием.

Временами он все-таки дерзал привлечь к себе внимание Юленьки настоящей услужливостью, горячим пожатием руки в танцах, молящим влюбленным взглядом, но она с обидным спокойствием точно не замечала его; равнодушно отходила от него прочь, прерывала его робкие слова громким разговором с кем-нибудь совсем посторонним.

Однажды, когда играли в почту, он послал ей в Ялту краткую записочку:

«Неужели вы забыли, как я обнимал ваши ноги и целовал ваши колени там, далеко в прекрасной березовой роще?» Она развернула бумажку, вскользь поглядела на нее и, разорвав на множество самых маленьких кусочков, кинула, не глядя, в камин. Но со следующей почтой он получил письмо из города Ялты в свой город Кинешму. Быстрым мелким четким почерком в нем были написаны две строки:

«А вы забыли ту березовую кашу, которой вас в детстве потчевали за глупость и дерзость?»

Тут с окончательной ясностью понял несчастный юнкер, что его скороспешному любовному роману пришел печальный конец. Он даже не обиделся на прозрачный намек на розги. Поймав случайный взгляд Юленьки, он издал серьезно и покорно склонил голову в

знак послушания. А когда гости стали расходиться, он в передней улучил минутку, чтобы подойти к Юленьке и тихо сказать ей:

– Вы правы. Я сам вижу, что надоел вам своим приставанием. Это было бестактно. Лучше уже маленькая дружба, чем большая, но лопнувшая любовь.

– Ну вот и умница, – сказала она и крепко пожала своей прекрасной большой, всегда прохладной рукой руку Александра. – И я вам буду настоящим верным другом.

В следующую субботу он пришел к Синельниковым совсем выздоровевшим от первой любви. Он думал: «А не влюбиться ли мне в Оленьку или в Любочку? Только в какую из двух?»

И в тот же вечер этот господин Сердечкин начал строить куры поочередно обеим барышням, еще не решивши, к чьим ногам положит он свое объемистое сердце. Но эти маленькие девушки, почти девочки, уже умели с чисто женским инстинктом невинно кокетничать и разбираться в любовной вязи. На все пылкие подходы юнкера они отвечали:

– Нет уж, пожалуйста! Все эти ваши комплименты, и рыцарства, и ухаживанья, все это, пожалуйста, обращайтесь к Юленьке, а не к нам. Слишком много чести!

Глава XI. Свадьба

Приходит день, когда Александров и трое его училищных товарищей получают печатные бристольские карточки с приглашением пожаловать на бракосочетание Юлии Николаевны Синельниковой с господином Покорни, которое последует такого-то числа и во столько-то часов в церкви Константиновского межевого института. Свадьба как раз приходилась на отпускной день, на среду. Юнкера с удовольствием поехали.

Большая Межевая церковь была почти полна. У Синельниковых, по их покойному мужу и отцу, полковнику генерального штаба, занимавшему при генерал-губернаторе Владимире Долгоруком очень важный пост, оказалось в Москве обширное и блестящее знакомство. Обряд венчания происходил очень торжественно: с певчими из капеллы Сахарова, со знаменитым протодиаконом Успенского собора Юстовым и с полным ослепительным освещением, с нарядной публикой.

Под громкое радостное пение хора «Гряди, гряди, голубица от Ливана» Юлия, в белом шелковом платье, с огромным шлейфом, который поддерживали два мальчика, покрытая длинной сквозной фатою, не спеша, величественно прошла к амвону. Ее сопровождал гул восхищения. Своим шафером она выбрала представительного, высокого Венсана, и Александров сам не знал: обижаться ли ему на это предпочтение, или, наоборот, благодарить невесту за ту деликатность, с которой она избавила его от лишних мучений ревности. Только почему же Венсан еще накануне не уведомил о чести, которой удостоился? Надо будет сказать ему, что это – свинство.

Громадный протодиакон с необыкновенно пышными завитыми рыжими волосами трубил нечеловечески густым, могучим и страшным голосом: «Жена же да убоится му-у-ужа...» – и от этих потрясающих звуков дрожали и звенели хрустальные призмочки люстр и чесалась переносица, точно перед чиханьем. Молодых водили в венцах вокруг аналоя с пением «Исаия ликуй: се дева име во чреве»; давали им испить вино из одной чаши, заставили поцеловаться и обменяться кольцами. Много раз священник и протодиакон упоминали о чреве, рождении и обильном многоплодии. Служба шла в быстром, оживленном, веселом темпе.

Александров стоял за колонкой, прислонясь к стене и скрестив руки на груди по-наполеоновски. Он сам себе рисовался пожилым, много пережившим человеком, перенесшим тяжелую трагедию великой любви и ужасной измены. Опустив голову и нахмутив брови, он думал о себе в третьем лице: «Печать невыразимых страданий лежала на бледном челе несчастного юнкера с разбитым сердцем»...

Когда венчание окончилось и приглашенные потянулись поздравить молодых, несчастный юнкер столкнулся с Оленькой и спросил ее:

– А что, Ольга Николаевна, хотели бы вы быть на месте Юленьки?

Она заиграла лукавыми, темными глазами.

– Ну уж, благодарю вас. Покорни вовсе не герой моего романа.

– Ах, я не то хотел сказать, – поправился Александров. – Но венчание было так великолепно, что любая барышня позавидовала бы Юленьке.

– Только не я, – и она гордо вздернула кверху розовый короткий носик. – В шестнадцать лет порядочные девушки не думают о замужестве. Да и, кроме того, я, если хотите знать, принципиальная противница брака. Зачем стеснять свою свободу? Я предпочитаю пойти на высшие женские курсы и сделаться ученой женщиной.

Но ее влажные коричневые глаза, с томно-синеватыми веками, улыбались так задорно, а губы сжались в такой очаровательный красный морщинистый бутон, что Александров, наклонившись к ее уху, сказал шепотом:

– И все это – неправда. И никогда вы не пойдете копытиться на курсах. Вы созданы богом для кокетства и для любви, на погибель всем нам, вашим поклонникам.

Пользуясь теснотой, он отыскал ее мизинец и крепко пожал его двумя пальцами. Она, блеснув на него глазами, убрала свою руку и шепнула ему: кш! – как на курицу.

Александров поздравил новобрачных, стоявших в левом приделе. Рука Юленьки была холодна и тяжела, а глаза казались усталыми.

Но она крепко пожала его руку и слегка, точно жалобно, улыбнулась.

Покорни весь сиял; сиял от напояженного пробора до лакированных ботинок; сиял новым фракком, ослепительно белым широким пластроном, золотом запонок, цепочек и колец, шелковым блеском нового шапокляка. Но на взгляд Александрова он, со своею долговязостью, худобой и неуклюжестью, был еще непригляднее, чем раньше, летом, в простом дачном пиджачке. Он крепко ухватил руку юнкера и начал ее качать, как насос.

– Спасибо, мерси, благодарю! – говорил он, захлебываясь от счастья. – Будем снова добрыми старыми приятелями. Наш дом будет всегда открыт для вас.

А Анна Романовна, разрядившаяся ради свадьбы, как царица Савская, и похорошевшая, казавшаяся теперь старшей сестрой Юленьки, пригласила любезно:

– Прямо из церкви зайдите к нам, закусить чем бог послал и выпить за новобрачных. И товарищей позовите. Мы звать всех не в состоянии: очень уж тесное у нас помещение; но для вас, милых моих александровцев, всегда есть место. Да и потанцуете немножко. Ну, как вы находите мою Юленьку? Право, ведь недурна?

Александров вздохнул шумно и уныло.

– Вы спрашиваете – не дурна ли? А я хотел бы узнать, кто и где видел подобную совершенную красоту?

– О, какой рыцарский комплимент! Мсье Александров, вы опасный молодой мужчина... Но, к сожалению, из одних комплиментов в наше время шубу не сошьешь. Я, признаюсь, очень рада тому, что моя Юленька вышла замуж за достойного человека и сделала прекрасную партию, которая вполне обеспечивает ее будущее. Но, однако, идите к вашим товарищам. Видите, они вас ждут.

Александров pokrutil голову:

– А ведь про шубу-то она, наверное, на мой счет прошлась?

Квартиру Синельниковых нельзя было узнать – такой она показалась большой, вместительной, нарядной после каких-то неведомых хозяйственных перемен и перестановок. Анна Романовна, несомненно, обладала хорошим глазомером. У нее казалось многолюдно, но тесноты и давки не было.

В зале стояли покоем столы с отличными холодными закусками. Стульев почти не было. Закусывали стоя, а la fourchette. Два наемных лакея разносили на серебряных подносах высокие тонкогорлые бокалы с шампанским. Александров пил это вино всего только во второй раз в своей жизни. Оно было вкусное, сладкое, шипело во рту и приятно щекотало горло. После третьего бокала у него повеселело в голове, потеплело в груди, и глаза стали все видеть, точно сквозь легкую струящуюся завесу. С трудом разобрал он на

высокой толстостенной бутылочке золотые литеры: «Veuve Clicquot» ².

Потом лакеи с необыкновенной быстротой и ловкостью разняли столовый «покой» и унесли куда-то столы. В зале стало совсем просторно. На окна спустились темно-малиновые занавесы. Зажглись лампы в стеклянных матовых колпаках. Наемный тапер, вдохновенно-вздохмаченный брюнет, заиграл вальс.

Александров выпил еще один бокал шампанского и вдруг почувствовал, что больше нельзя. «Генуг, ассе, баста, довольно», – сказал он ласково засмеявшемуся лакею.

Нет, он вовсе не был пьян, но весь был как бы наполнен, напоен удивительно легким воздухом. Движения его в танцах были точны, мягки и беззвучны (вообще он несколько потерял способность слуха и оттого говорил громче обыкновенного). Но им, незаметно для самого себя, овладело очарование той атмосферы всеобщей легкой влюбленности, которая всегда широко разливается на свадебных праздниках. Здесь есть такое чувство, что вот, на время, приоткрылась запечатанная дверь; запрещенное стало на глазах участников не только дозволенным, но и благословенным. Суровая тайна стала открытой, веселой, прелестной радостью. Нежный гашиш сладко одурманивал молодые души.

Александров не отходил от Оленьки, упрямо и ревниво ловя минуты, когда она освобождалась от очередного танцора. Он без ума был влюблен в нее и сам удивлялся, почему не замечал раньше, как глубоко и велико это чувство.

– Оленька, – сказал он. – Мне надо поговорить с вами по очень, по чрезвычайно нужному делу. Пойдемте вон в ту маленькую гостиную. На одну минутку.

– А разве нельзя сказать здесь? И что это за уединение вдвоем?

– Да ведь мы все равно будем у всех на глазах. Пожалуйста, Олечка!

– Во-первых, я вам вовсе не Олечка, а Ольга Николаевна. Ну, пойдемте, если уж вам так хочется. Только, наверно, это пустяки какие-нибудь, – сказала она, садясь на маленький диванчик и обмахиваясь веером. – Ну, какое же у вас ко мне дело?

– Оленька, – сказал Александров дрожащим голосом, – может быть, вы помните те четыре слова, которые я сказал вам на балу в нашем училище.

– Какие четыре слова? Я что-то не помню.

– Позвольте напомнить... Мы тогда танцевали вальс, и я сказал: «Я люблю вас, Оля».

– Какая дерзость!

– А помните, что вы мне ответили?

– Тоже не помню. Вероятно, я вам ответила, что вы нехороший, испорченный мальчишка.

– Нет, не то. Вы мне ответили: «Ах, если бы я могла вам верить».

– Да, конечно, вам верить нельзя. Вы влюбляетесь каждый день. Вы ветрены и легкомысленны, как мотылек... И это-то и есть все то важное, что вы мне хотели передать?

– Нет, далеко не все. Я опять повторяю эти четыре заветные слова. А в доказательство того, что я вовсе не порхающий папильон ³, я скажу вам такую вещь, о которой не знают ни моя мать, ни мои сестры и никто из моих товарищей, словом, никто, никто во всем свете.

Ольга зажмурилась и затрясла своими темными блестящими кудряшками.

– А это не будет страшно?

– Ничуть, – серьезно ответил Александров. – Но уговор, Ольга Николаевна: раз я лишь одной вам открываю величайшую тайну, то покорно прошу вас, вы уж, пожалуйста, никому об этом не болтайте.

– Никому, никому! Но она, надеюсь, приличная, ваша тайна?

– Абсолютно. Я скажу даже, что она возвышенная...

– Ах, говорите, говорите скорей. Я вся трясусь от любопытства и нетерпения.

² «Вдова Клико» (*фр.*).

³ Мотылек (от *фр.* papillon).

Ее правый глаз был освещен сбоку и сверху, и в нем, между зрачком и райком, горел и точно переливался светло-золотой живой блик. Александров засмотрелся на эту прелестную игру глаза и замолчал.

– Ну, что же? Я жду, – ласково сказала Ольга.

Александров очнулся.

– Ну, вот... на днях, очень скоро... через неделю, через две... может быть, через месяц... появится на свет... будет напечатана в одном журнале... появится на свет моя сюита... мой рассказ. Я не знаю, как назвать... Прошу вас, Оля, пожелайте мне успеха. От этого рассказа, или, как сказать?... эскиза, так многое зависит в будущем.

– Ах, от души, от всей души желаю вам удачи... – пылко отозвалась Ольга и погладила его руку. – Но только что же это такое? Сделаетесь вы известным автором и загордитесь. Будете вы уже не нашим милым, славным, добрым Алешей или просто юнкером Александровым, а станете называться «господин писатель», а мы станем глядеть на вас снизу вверх, раскрыв рты.

– Ах, Оля, Оля, не смейтесь и не шутите над этим. Да. Скажу вам откровенно, что я ищу славы, знаменитости... Но не для себя, а для нас обоих: и для вас и для меня. Я говорю серьезно. И, чтобы доказать вам всю мою любовь и все уважение, я посвящаю этот первый мой труд вам, вам, Оля!

Она широко открыла глаза.

– Как? И это посвящение будет напечатано?

– Да. Непременно. Так и будет напечатано в самом начале: «Посвящается Ольге Николаевне Синельниковой», внизу мое имя и фамилия...

Ольга всплеснула руками.

– Неужели в самом деле так и будет? Ах, как это удивительно! Но только нет. Не надо полной фамилии. Нас ведь вся Москва знает. Бог знает, что наплетут, Москва ведь такая сплетница. Вы уж лучше как-нибудь под инициалами. Чтобы знали об этом только двое: вы и я. Хорошо?

– Хорошо. Я повинуюсь. А когда я стану большим, настоящим писателем, Оленька, когда я буду получать большие гонорары, тогда...

Она быстро встала.

– Тогда и поговорим. А теперь пойдемте в зал. На нас уже смотрят.

– Дайте хоть ручку поцеловать!

– Потом. Идите первым. Я только поправлю волосы.

Была пора юнкерам идти в училище. Гости тоже разъезжались. Ольга и Люба провожали их до передней, которая была освещена слабо. Когда Александров успел надеть и одернуть шинель, он услышал у самого уха тихий шепот: «До свидания, господин писатель», – и горячие сухие губы быстро коснулись его щеки, точно клюнули.

Домой юнкера нарочно пошли пешком, чтобы выветрить из себя пары шампанского. Путь был не близкий: Земляной вал, Покровка, Маросейка, Ильинка, Красная площадь, Спасские ворота, Кремль, Башня Кутафья, Знаменка... Юнкера успели прийти в себя, и каждый, держа руку под козырек, браво прорапортовал дежурному офицеру, поручику Рославлеву, по-училищному – Володьке: «Ваше благородие, является из отпуска юнкер четвертой роты такой-то».

Володька прищурил глаза, повел огромным носом и спросил коротко:

– Клико деми-сек? ⁴

– Так точно, ваше благородие. На свадьбе были в семье полковника Синельникова.

– Ага! Ступайте.

Этот Володька и сам был большущим кутилой.

⁴ Полусухое? (фр.).

Глава XII. Господин писатель

Это была очень давнишняя мечта Александрова – сделаться поэтом или романистом. Еще в пансионе Разумовской школы он не без труда написал одно замечательное стихотворение:

Скорее, о птички, летите
Вы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет весна уж у нас.

В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
Деревья распустят листочки,
И будет прелестнейший вид.

Ему было тогда семь лет... Успех этих стихов льстил его самолюбию. Когда у матери случались гости, она всегда уговаривала сына: «Алеша, Алеша, прочитай нам „Скорее, о птички“. И по окончании декламации гости со вздохом говорили: „Замечательно! удивительно! А ведь, кто знает, может быть, из него будущий Пушкин выйдет“.

Но, перейдя в корпус, Александров стал стыдиться этих стишков. Русская поэзия показала ему иные, совершенные образцы. Он не только перестал читать вслух своих несчастных птичек, но упросил и мать никогда не упоминать о них.

В пятом классе его потянуло на прозу. Причиной этому был, конечно, неотразимый Фенимор Купер.

К тому же кадета Александрова соблазняла та легкость, с которой он писал всегда на полные двенадцать баллов классные сочинения, нередко читавшиеся вслух, для примера прочим ученикам.

Пять учебных тетрадок, по обе стороны страниц, прилежным печатным почерком были мелко исписаны романом Александрова «Черная Пантера» (из быта североамериканских дикарей племени Ваякса и о войне с бледнолицыми).

Там описывались удивительнейшие подвиги великого вождя по имени Черная Пантера и его героическая смерть. Бледнолицые дьяволы, теснимые краснокожими, перешли на небольшой необитаемый остров среди озера Мичиган. Они были со всех сторон обложены индейцами, но взять их не удавалось. Их карабины были в исправности, а громадный запас пороха и пуль грозил тем, что осада продлится на очень большое время, вплоть до прихода главной армии. Питаться же они могли свободно: рыбой из озера и пролетающей многочисленной птицей.

Но лишь один вождь, страшный Черная Пантера знал секрет этого острова. Он весь был насыпан искусственно и держался на стволе тысячелетнего могучего баобаба. И вот отважный воин, никого не посвящая в свой замысел, каждую ночь подплывает осторожно к острову, ныряет под воду и рыбьей пилою подпиливает баобабовый устой. Наутро он незаметно возвращается в лагерь. Перед последнею ночью он дает приказ своему племени:

– Завтра утром, когда тень от острова коснется мыса Чиу-Киу, садитесь в пироги и спешно плывите на бледнолицых. Грозный бог войны, великий Коокама, сам предаст белых дьяволов в ваши руки. Меня же не дожидайтесь. Я приду в разгар битвы.

И ушел.

Утром воины беспрекословно исполнили приказание вождя. И когда они, несмотря на адский ружейный огонь, подплыли почти к самому острову, то из воды послышался страшный треск, весь остров покосился набок и стал тонуть. Напрасно европейцы молили о пощаде. Все они погибли под ударами томагавков или нашли смерть в озере. К вечеру же вода выбросила труп Черной Пантеры. У него под водою не хватило дыхания, и он,

перепилив корень, утонул. И с тех пор старые жрецы поют в назидание юношам, и так далее и так далее.

Были в романе и другие лица. Старый трапер, гроза индейцев, и гордая дочь его Эрминия, в которую был безумно влюблен вождь Черная Пантера, а также старый жрец племени Ваякса и его дочь Зумелла, покорно и самоотверженно влюбленная в Черную Пантеру.

Роман писался любовно, но тяжело и долго. Куда легче давались Александрову его милые акварельные картинки и ловкие карикатуры карандашом на товарищей, учителей и воспитателей. Но на этот путь судьба толкнет его гораздо позднее...

Во что бы то ни стало следовало этот роман напечатать. В нем было, на типографский счет, листа два, не менее. Но куда сунуться со своим детищем – Александров об этом не имел никакого представления. Помог ему престарелый монах, который продавал свечки и образки около часовни Сергия Преподобного, что была у Ильинских ворот. Мать давным-давно подарила Александрову копилку со старой малоинтересной коллекцией монет, которую когда-то начал собирать ее покойный муж. Александров всегда нуждался в свободном пятаке. Мало ли что можно на него купить: два пирожка с вареньем, кусок халвы, стакан малинового кваса, десять слив, целое яблоко, словом, без конца...

И вот, по какому-то наитию, однажды и обратился Александров к этому тихонькому, закапанному воском монашку с предложением купить кое-какие монетки. В коллекции не было ни мелких золотых, ни крупных серебряных денег. Однако монашек, порывшись в медной мелочи, взял три-четыре штуки, заплатил двугривенный и велел зайти когда-нибудь в другой раз. С того времени они и подружились.

Сам Александров не помнил, почему он отважился обратиться к монашку за советом:

– Кому бы мне отдать вот это мое сочинение, чтобы напечатали?

– А очень просто, – сказал монах. – Выйдете из ворот на Ильинку, и тут же налево книжный ларек Изюмашева. К нему и обратитесь.

У ларька, прислонясь к нему спиной, грыз подсолнушки тощий развязный мальчуган.

– Что прикажете, купец? Сонники? письмовники? гадательные книжки? романы самые животрепещущие? Францыль, Венециан? Гуак, или Непреоборимая ревность? Турецкий генерал Марцимирис? Прекрасная магометанка, умирающая на могиле своего мужа?

– Мне не то, – робко прервал его Александров. – Мне бы узнать, кому отдать мой собственный роман, чтобы его напечатали.

Мальчик быстро ковырнул пальцем в носу.

– А вот, с-час, с-час. Я хозяина покличу. Родион Тихоныч! а Родион Тихоныч! Пожалуйте в лавочку. Тут пришли.

Вошел большой рыжий купец, весь еще дымящийся от сбитня, который он пил на улице.

– Чаво? – спросил он грубо.

Лицо у него было враждебное.

Александров сказал:

– Вот тут у меня небольшой написан роман из жизни...

– Покажь. – Он взял тетрадки и взвесил их на руке, потом перелистал несколько страниц и ответил: – Товар не по нас. Под Фенимора-с. Купера-с. Полтора рубля хотите-с?

– Я не знаю, – робко пробормотал Александров.

– Боле не могу. – Он почесал спину о балясину. – Настоящая цена-с.

– Ну, хорошо, – согласился кадет. – Пусть полтора.

– Так-с. Оставьте-с. Приходите через недельку. Посмотреть необходимо. Извольте получить ваши рупь с полтиной.

Александров пришел через неделю, потом через другую, третью, десятую. Сначала ему отказывали в ответе под разными предлогами, а потом враждебно сказали:

– Какая такая рукопись. Ничего мы о ней не слышали и романа вашего никакого не читали. Напрасно людей беспокоите, которые занятые.

Так и погиб навеки замечательный роман «Черная Пантера» в пыльных печатных складах купца Изымышева на Ильинке.

Застенчивый Александров с той поры, идя в отпуск, избегал проходить Ильинской улицей, чтобы не встретиться случайно глазами с глазами книжного купца и не сгореть от стыда. Он предпочитал вдвое более длинный путь: через Мясницкую, Кузнецкий мост и Тверскую.

Но было в душе его непоколебимое татарское упрямство. Неудача с прозой горько оскорбила его, вместо прозы он занялся поэзией. В седьмом классе корпуса, по воскресеньям, давалась на руки кадетам хрестоматия Гербеля – книга необыкновенно больших размеров и редкой толщины. Она не была руководящей книгой, а предлагалась просто для легкого и занятого чтения в свободное от зубрежки время. В ней было все, что угодно, и всего понемножку: отрывки из русских классиков, переводы из Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона, Гейне и даже шутки, пародии и эпиграммы семидесятых годов.

Большинство этого обильного и мусорно собранного материала прошло мимо наивной души Александрова, но Генрих Гейне, с его нежной, страстной, благоуханной лирикой, с его живым юмором, с этой сверкающей слезкой в щите, – Гейне пленил, очаровал, заморозил впечатлительное жадное сердце шестнадцатилетнего юноши.

В немецком учебнике Керковиуса, по которому учились кадеты, было собрано достаточное количество образцов немецкой литературы, и между ними находилось десятка с два коротеньких стихотворений Гейне.

Александров, довольно легко начинавший осваиваться с трудностями немецкого языка, с увлечением стал переводить их на русский язык. Он тогда еще не знал, что для перевода с иностранного языка мало знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо еще уметь проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или других слов.

Но он уже сам начинал чувствовать, что переводы его лишены легкой игривой свободной резвости подлинника, что стихи у него выходят дубовыми, грузными, тяжело произносимыми и что напряженный смысл их далеко не исчерпывает благоуханного и волнующего смысла гейневского стиха.

Охотнее всего делал Александров свои переводы в те скучные дни, когда, по распоряжению начальства, он сидел под арестом в карцере, запертый на ключ. Тишина, безделье и скука как нельзя лучше поощряли к этому занятию. А когда его отпускали на свободу, то, урвав первый свободный часочек, он поспешно бежал к старому верному другу Сашке Гурьеву, к своему всегдашнему, терпеливому и снисходительному слушателю.

Обое выбирали уютный, укромный уголок, вдали от обычной возни и суматохи, и там Александров с восторгом, с дрожащими руками, нараспев читал вслух последние произведения своей музыки.

– Очень хорошо, Алехан, по совести могу сказать, что прекрасно, – говорил Гурьев, восторженно тряся головою. – Ты с каждым днем совершенствуешься. Пиши, брат, пиши, это твое настоящее и великое призвание.

Похвалы Сашки Гурьева были чрезвычайно лестны и сладки, но Александров давно уже начал догадываться, что полагаться на них и ненадежно, и глупо, и опасно. Гурьев парень превосходный, но что он, по совести говоря, понимает в высоком и необычайно трудном искусстве поэзии?

И тогда он решился на суровый, героический, последний опыт. «Я переведу, – сказал он сам себе, – одно из значительных стихотворений Гейне, не заглядывая в хрестоматию Гербеля, а потом сличу оба перевода. Тогда я узнаю, следует ли мне писать стихи, или не следует». Он выискал в Керковиусе известное гейневское стихотворение, вернее, маленькую поэму – «Лорелея», трудился он над ее переводом усердно и добросовестно, по множеству раз прибегая к толстому немецко-русскому словарю, чтобы найти побольше синонимов. С ритмом он легко справился, взяв за образец лермонтовское «По синим волнам океана», но в самом начале тщательной работы он уже стал предчувствовать, что Гейне ему не дается и,

вероятно, не дастся. Уже первая строфа казалась ему деревянной (хотя в этом ему не хотелось окончательно сознаться перед самим собой):

Не знаю, что случилось со мною,
Сегодня мой дух так смущен,
И нет мне ни сна, ни покою
От песни минувших времен.

– Почему, например, «покою», когда следует сказать «покою». Требование рифмы? А где же требование законов русского языка?

После многих черновиков, переделок и перемарок Александров остановился на последней, окончательной форме. «Правда: это еще не совершенство, но сделать лучше и вернее я больше не в силах».

Только тогда он раскрыл Гербеля и нашел в нем «Лорелею». Воистину ослепительно прекрасным, совершенным, несравнимым, или, точнее, сравнимым только с текстом самого Гейне, показался ему перевод Михайлова.

«Да, – подумал он, – так я ни за что не переведу. А если и переведу, то только после многих, многих лет изучения всех тонкостей немецкого языка и кристального вдумывания в слова великого автора. Куда мне!..»

Но он хотел до конца исчерпать всю горечь своей неудачи. Как-то, после урока немецкого языка, он догнал уходившего из класса учителя Мея, сытого, доброго обрусевшего немца, и сунул ему в руки отлично переписанную «Лорелею».

– Здесь немного, всего тридцать две строки. Будьте добры, перечитайте мой перевод и скажите без всякой церемонии ваше мнение.

Мей охотно принял рукопись и сказал, что на днях даст ответ. Через несколько дней, опять выходя из класса, Мей сделал Александрову едва заметный сигнал следовать за собой и, идя с ним рядом до учительской комнаты, торопливо сказал:

– За ваш прекрасный и любовный труд я при первом случае поставлю вам двенадцать! Должен вам признаться, что хотя я владею одинаково безукоризненно обоими языками, но так перевести «Лорелею», как вы, я бы все-таки не сумел бы. Тут надо иметь в сердце кровь поэта. У вас в переводе есть несколько слабых и неверно понятых мест, я все их остороженько подчеркнул карандашиком, пометки мои легко можно снять резинкой. Ну, желаю вам счастья и удачи, молодой поэт. Стихи ваши очень хороши.

Усталым, сиплым голосом поблагодарил Александров учителя. На сердце его лежал камень.

«Нет, уж что тут, – мысленно махнул он на себя рукою. – Верно сказано: „не суйся со свинячьим рылом в калашный ряд“».

– Кончено на веки вечные мое писательство! баста!

Александров перестал сочинять (что, впрочем, очень благотворно отозвалось на его последних в корпусе выпускных экзаменах), но мысли его и фантазии еще долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где все было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славой, это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово – «писатель», или еще выразительнее – «господин писатель».

Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет – это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создает каких хочет людей и какие вздумает приключения, и все это остается жить на веки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем тысячи настоящих, взаправдашних людей и событий, и живет годами, столетиями, тысячелетиями, к восторгу, радости и поучению бесчисленных человеческих поколений.

Вот оно, госпожа Бичерстоу с «Хижиной дяди Тома», Дюма с «Тремя мушкетерами»,

Жюль Верн с «Капитаном Немо» и с «Детьми капитана Гранта», Тургенев с Базаровым, Рудиним, Пигасовым... и – да всех и не перечислишь.

У всех у них какое-то могучее подобие с господом богом: из хаоса – из бумаги и чернил – родят они целые миры и, создавши, говорят: это добро зело.

«Истинные господа на земле эти таинственные писатели. Если бы повидать хоть одного из них когда-нибудь. Может быть, он подведет меня поближе к тайне своего творчества, и я пойму его...»

Мечтая таким образом, Александров и предполагать не смел, что покорный случай готовит ему вскорости личное знакомство с настоящим и даже известным Господином Писателем.

Глава XIII. Слава

На вакации, перед поступлением в Александровское училище, Алексей Александров, живший все лето в Химках, поехал погостить на неделю к старшей своей сестре Соне, поселившейся для деревенского отдыха в подмосковном большом селе Краскове, в котором сладкогласные мужики зимою промышляли воровством, а в теплые месяцы сдавали москвичам свои избы, порою о двух и даже о трех этажах. Сонин дом Александров знал еще с прошлого года и потому, спрыгнув на ходу с вагонной площадки, быстро и уверенно дошел до него. Но у окна он с некоторым изумлением остановился. Соня играла на пианино, и он сразу узнал столь любимую им вторую рапсодию Листа. В этом не было, конечно, ничего необыкновенного; поразил Александра незнакомый и, по правде сказать, дикий Сонин гость. Он был длинен, худ и с таким несчетным количеством веснушек на лице, что издали гость казался крашенным в темно-желтую краску или страдающим желтухою. Одет он был фантастически: в долгую, до земли, и преувеличенно-широкую размахайку цвета летучей мыши. Высоко и буйно задирая вверх клокастую голову, он носился взад и вперед по комнате. Левая рука его держала угол размахайки и заставляла ее развеиваться в воздухе, как театральный плащ Демона. А в правой руке у незнакомца был столовый нож, которым он неистово дирижировал в такт Сониной музыке.

Эта картина была так странна и сверхъестественна, что Александров точно припаялся к оконному стеклу и не мог сдвинуться с места. А тут Соня добралась до этого дьявольского цыганского престо-престиссимо, от которого ноги молодых людей начинают сами собой плясать, ноги стариков выделывают поневоле, хоть и с трудом, хоть и совсем не похоже, лихие па старинных огненных танцев и кости мертвецов шевелятся в могилах. С желтолицым человеком произошла точно мгновенная судорога. Он швырнул на пол свой мышастый разлетай, издал дикий вопль и вдруг с такой неожиданной силой и ловкостью запустил ножом в стену, что острое вонзилось в нее и закачалось.

Послышался испуганный крик Сони. Александров почувствовал, что теперь ему как мужчине необходимо принять участие в этом странном происшествии. Он затряс ручку дверного звонка. Соня отворила дверь, и испуг ее прошел. Она уже смеялась.

– Здравствуй, здравствуй, милый Алешенька, – говорила она, целуясь с братом. – Иди скорее к нам в столовую. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Позвольте вам представить, Диодор Иванович, моего брата. Он только что окончил кадетский корпус и через месяц станет юнкером Александровского военного училища. А это, Алеша, наш знаменитый русский поэт Диодор Иванович Миртов. Его прелестные стихи часто появляются во всех прогрессивных журналах и газетах. Такое наслаждение читать их!

Желтолицый поэт картавил, хотя и не без приятности.

– Миртов, – говорил он, пожимая руку Алеши, – Диодог Миртов. Очень гад, весьма гад. Чрезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых.

Соня вспомнила недавнюю трагикомическую сцену.

– Ах, как Диодор Иванович меня сейчас напугал, – сказала она добродушно и весело.

Александров осторожно промолчал о том, что он видел сквозь окно. Немного

конфузаясь, Миртов стал выдергивать из шелевки крепко завязший в ней нож и бурчал, точно извиняясь:

– Четговская эта музыка венгеская. Электгизигует негвного человека. Слышу эту втогую гапсодию Листа, и во мне закипает кговь моих дгевних пгедков, каких-нибудь скифов или казагов. Уж вы меня пгостите, догогая Софья Николаевна. Стихийная у меня натуга и дугацкая.

Александров внимательно рассматривал лицо знаменитого поэта, похожее на кукушечье яйцо и тесной раскраской и формой. Поэт понравился юноше: из него, сквозь давно наигранную позу, лучилась какая-то добрая простота. А театральный жест со столовым ножом Александров нашел восхитительным: так могут делать только люди с яркими страстями, не боящиеся того, что о них скажут и подумают обыкновенные людишки.

В ту пору дерзость, оригинальность и экспансивность были его героической утехой. Недаром он тогда проходил через волшебное обаяние Дюма-отца. Зато стихов Миртова, которых он с неизменной любезностью прочитал много, Александров совсем не понял и добросовестно отнес это к своей малой поэтической восприимчивости.

Соня, всегда немножко бестактная, не упустила случая сделать неловкость. В то время когда Миртов, передыхая между двумя стихотворениями, пил пиво, Соня вдруг сказала:

– А вы знаете, Диодор Иванович, наш Алеша ведь тоже немножко поэт, премиленькие стишки пишет. Я хоть и сестра, но с удовольствием их читаю. Попросите-ка его что-нибудь продекламировать вслух.

Александров от стыда и от злости на сестру стал сразу мучительно пунцовым, думая про себя: «О бог мой! До какой степени эти женщины умеют быть бестактными».

Миртов каким-то придавленным голосом, с искривленной улыбкой сказал:

– А что же, молодой воин. Прочитайте, прочитайте. Мы, старики, всем сердцем радуемся каждому юному пришельцу. Почитайте, пожалуйста.

Александров чутким ухом услышал и понял, что никакие стихи, кроме собственных, Миртова совсем не интересуют, а тем более детские, наивные, жалкие и неумелые. Он изо всех сил набросился на сестру:

– Как тебе не совестно, Соня? И какие же это стихи. Ни смысла, ни музыки. Обыкновенные вирши бездельника-мальчишки: розы – грозы, ушел – пришел, время – бремя, любовь – кровь, камень – пламень. А дальше и нет ничего. Вы уж, пожалуйста, Диодор Иванович, не слушайте ее, она в стихах понимает, как свинья в апельсинах. Да и я – тоже. Нет, прочитайте нам еще что-нибудь ваше.

Таким образом и подружился пятидесятилетний, уже заметно тронутый сединою, известный поэт Миртов с беззаботным мальчуганом Александровым.

Миртов был соседом Сони, тоже снимал дачку в Краскове. Всю неделю, пока Александров гостил у сестры, они почти не расставались. Ходили вместе в лесок за грибами, земляникой и брусникой и два раза в день купались в холодной и быстрой речонке.

У Миртова был огромный трехлетний пес сенбернарской чистой породы, по кличке Друг. Собака была у писателя, как говорится, не в руках: слишком тяжел, стар и неуклюж был матерый писатель, чтобы целый день заниматься собакой: мыть ее, чесать, купать, вовремя кормить, развлекать и дрессировать и следить за ее здоровьем. Зато Друг охотно пошел к Александрову, как веселый сверстник и компаньон по проказам. Началась их приязнь так: Друг по какому-то давнишнему капризу ни за что не хотел лазить в речную воду, а теми обливаниями на суше, какими его угощал хозяин, он всегда оставался недоволен – фыркал, рычал, вырывался из рук, убегал домой и даже при всей своей ангельской кротости иногда угрожал укусом.

Александров справился с ним одним разом. Уж не такая большая тяжесть для семнадцатилетнего юноши три пуда. Он взял Друга обеими руками под живот, поднял и вместе с Другом вошел в воду по грудь. Сенбернар точно этого только и дожидался. Почувствовав и уверившись, что жидкая вода отлично держит его косматое тело, он очень быстро освоился с плаванием и полюбил его.

Вскоре он и Алексей стали задавать в речке настоящие морские бои и правильные гонки. С этого почина собака доверчиво и с удовольствием влегла в тренировку. Увлеченный этим милым занятием и охотной понятливостью ученика, Александров вместо недели пробыл в Краскове две с половиной.

Миртов благодарно полюбил эти купанья и прогулки втроем. Он был очень одинокий человек. В доме у него никого не было, кроме собаки и старой-престарой кухарки, которая ничего не слышала, не понимала и не умела, кроме как бегать за пивом.

Иногда он говорил Александрову: «Знаете что, Алеша? – поэзия есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов, и даже очень известных, а по проверке временем осталось их на всем белом свете не более двух десятков, конечно не считая меня. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить прозу. У вас глаз меткий, ноздри как у песика, наблюдательность большая, и, кроме того, самое простое и самое ценное достоинство: вы любите жизнь. Напишите когда-нибудь свеженький рассказ и принесите мне на Плющиху, где я всегда зимую. Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю, а там – что богу будет угодно. После маленького рассказика, с воробыный нос, напишите повестушку, а там глядь – и романище о восьми частях, как пишет современный король и бог русской изящной литературы Лев Толстой. Да, кстати, рекомендую вам этого всемогущего льва читать пореже, а то потеряете и собственную индивидуальность и вкус к своей работе. Это только в древние библейские времена смертный Иаков осмелился бороться с богом и отделался сравнительно дешево – сломанной ногой. Теперь чудес не бывает.

А когда пришел Александрову срок уезжать из Краскова, то Миртов с сенбернаром проводили его на полустанок, и вслед уходящему поезду Миртов кричал, размахивая платком:

– Смотрите не забывайте меня и Друга, приезжайте. Адгес – Плющиха, дом Гязнова. Я живу ввеху на голубятне. Ближе к богу.

В Москве, уже ставши юнкером, Александров нередко встречался с Диодором Ивановичем: то раза три у него на квартире, то у сестры Сони в гостинице Фальц-Фейна, то на улицах, где чаще всего встречаются москвичи. И всегда на прощанье не забывал Миртов дружески сказать:

– А что же гасказец-то? Жду, жду. Не медлите, догогой Алеша. Вгемя течет. Течет.

Вот именно об этом желтолицем и так мило сумбурном поэте думал Александров, когда так торжественно обещал Оленьке Синельниковой, на свадьбе ее сестры, написать замечательное сочинение, которое будет напечатано и печатно посвящено ей, новой царице его исстрадавшейся души.

Обещание было принято и, как мистической печатью, было припечатано быстрым, сухим и горячим поцелуем. Теперь оставалось только написать рассказ, а там уж Миртов непременно сунет его в журнал какой-нибудь.

И с этого времени, даже, можно сказать, со следующего дня, Александров яростно предался самому тяжелому, самому взыскательному из творчеств: творчеству слова. Конечно, напрасным оказался мудрый совет Диодора Ивановича: писать о том, что ты лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал, нанизывая эти впечатления на любую, хотя бы скучную нить происшествия. Нет, он отрицал тонкие, изысканные подробности, которые придавали бы рассказу естественность движения. Он не умел придать своим персонажам различные оттенки в голосах, привычках, склонностях и недостатках. Черное у него было густо-черным, как самая черная ночь. Белое – бело, как крылья архангела или как цветок лилии, красное – красно, как огонь. Оттенков или переливов он знать не хотел и нужды в них не чувствовал. Ревность для него была, по давнишнему Шекспиру, «чудовищем с зелеными глазами», любовь – упоительной и пламенной, верность – так непременно до гробовой доски.

На таких-то пружинах и подпорках он и соорудил свою сюиту (он не знал значения этого иностранного слова), сюиту «Последний дебют». В ней говорилось о тех вещах и чувствах, которых восемнадцатилетний юноша никогда не видел и не знал: театральный мир

и трагическая любовь к самоубийствам. Скелет рассказа был такой:

Утром, в дневной полутьме, на сцене большого провинциального театра идет репетиция. Анемподистов, антрепренер, он же директор и режиссер, предлагает второй актрисе – Струниной пройти роль Вари.

– Но ведь это моя коронная роль, – с ужасом восклицает первая актриса Торова-Монская, любовница Анемподистова.

– Ах, не волнуйтесь, дорогуля, – говорит директор, – труппа у нас совсем небольшая. Надо иногда, во внезапных случаях, заменять один другого.

– Ты ее любишь? Ты ее любишь? – горячо шепчет ему на ухо актриса Торова-Монская.

– Оставь, милая. Ты знаешь, что во всем мире я люблю тебя одну.

Дальше действие рассказа переносится за кулисы, в уборную. Решено, что Варю будет играть Струнина. Публика любит новые впечатления. Торова-Монская может отдохнуть немножко.

Но Монская сказала гордо:

– Я здесь, и я останусь. Струнина может играть завтра или когда ей будет угодно. Но я играю нынче в последний раз. Слышите ли вы, хам анемподийский! Сегодня я играю в самый последний раз.

И с этими словами вышла на сцену.

О боже, как приняла ее публика, увидев ее бледное, страдальческое лицо и огромные серые глаза! С каждым актом игра ее производила все более грандиозное впечатление на публику, переполнявшую театр. И вот подошла последняя сцена, сцена, в которой Варя отравляется.

Артистка подошла к рампе и потрясающим голосом сказала:

– Если любовь – то великое счастье. Если обман – то смерть. – И с этими словами поднесла к губам пузырек и вдруг упала в страшных конвульсиях.

«Доктора! доктора! О, какой ужас! – закричала публика. – Скорее доктора!» Но доктор уже был не нужен. Великая актриса умерла...

С блаженным чувством оконченного большого труда сделал юнкер красивую подпись: *Алехан Андров*. И украсил ее замысловатым росчерком.

Сто раз перечитал Александров свое произведение и по крайней мере десять раз переписал его самым лучшим своим почерком. Нет сомнений – сюита была очень хороша. Она трогала, умиляла и восхищала автора. Но было в его восторгах какое-то непонятное и невидимое пятно, какая-то постыдная неловкость очень давнего происхождения, какая-то неуловимая болячка, которую Александров не мог определить.

Тем не менее в одно из ближайших воскресений он пошел на Плющиху и с колотящимся сердцем взобрался на голубятню, на чердачный этаж старого деревянного московского дома. Надевши на нос большие очки, скрепленные на сломанной пережабинке куском сургуча, Миртов охотно и внимательно прочитал произведение своего молодого приятеля. Читал он вслух и, по старой привычке, немного нараспев, что придавало сюите важный, глубокий и красиво-печальный характер.

Юнкер и громадный сенбернар слушали его чтение с нескрываемым умилением. Друг даже вздыхал.

Наконец Диодор Иванович кончил, положил очки и рукопись на письменный стол и с затуманенными глазами сказал:

– Пгекгасно, мой догогой. Я вам говогию: пгекгасно. Зоилы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотгы, поггешности или еще что-нибудь, но на то они и зоилы. А ведь красивую девушку осьмнадцати лет не могут испортить ни родинка, ни рябинка, ни царапинка. Анисья Харитоновна, – закричал он, – принесите-ка нам бутылку пива, вспрыснуть новорожденного! Ну, мой добрый и славный друг, поздравляю вас с посвящением в рыцари пера. Пишите много, хорошо и на пользу, на радость человечеству!

Они чокнулись пивом и расцеловались.

Немного погодя и уже собираясь уходить, Александров спросил: можно ли ему будет

написать впереди сюиты маленький эпиграф. Не сочтут ли это за ломание?

– О, совсем нет, эпиграф прелестная вещь. Что же вы хотите написать?

– Да всего две строчки из Гейне.

– Хороший поэт, чудесный. Какие же?

Александров прочитал дрожащим от волнения голосом: «Я, раненный насмерть, играл, гладиатора бой представляя».

– Пгекгасно, великолепно, веская цитата, – одобрил Миртов.

Тут юнкер, осмелев, решился спросить и насчет посвящения.

– А что же?... Катайте. Ей? Конечно, ей?

Юноша покраснел от головы до пяток.

– Да, одной моей хорошей знакомой, в память уважения, дружбы и... Но следующий мой рассказ непременно будет посвящен вам, дорогой Диодор Иванович, вам, мой добрый и высокоталантливый учитель!

Миртов засмеялся, показав беззубый рот, потом обнял юнкера и повел его к двери. – Не забывайте меня. Заходите всегда, когда свободны. А я на этих днях постараюсь устроить вашу рукопись в «Московский ручей», в «Вечерние досуги», в «Русский цветник» (хотя он чуточку слишком консервативен) или еще в какое-нибудь издание. А о результате я вас уведоблю открыткой. Ну, прощайте. Вперед без страха и сомненья!

Но страх и сомнения терзали бедного Александра немилосердно. Время растягивалось подобно резине. Дни ожидания тянулись, как месяцы, недели – как годы. Никому он не сказал о своей первой дерзновенной литературной попытке, даже вернейшему другу Венсану; бродил как безумный по залам и коридорам, ужасаясь длительности времени.

И вот, наконец, открытое письмо от Диодора Ивановича. Пришло оно во вторник: «Взяли „Вечерние досуги“. В это воскресенье, самое большее – в следующее, появится в газетных киосках. Увы, я заболел инфлюэнцей, не встаю с постели. Отыщите сами. Ваш Д. Миртов».

В первое воскресенье Александров обегал десятка два киосков, спрашивая последние номера «Вечерних досугов», надеясь на чудо и не доверяя собственным глазам. К его огорчению, все «Досуги» были одинаковы, и ни в одном из них не было его замечательной сюиты «Последний дебют».

В следующее воскресенье он не имел возможности предпринять снова свои лихорадочные поиски, потому что в наказание за единицу по фортификации был лишен этим проклятым Дроздом отпуска.

Что делать? Пришлось открыть свою непроницаемую тайну милому товарищу Венсану, и тот с обычной любезной готовностью взялся найти и купить очередной номер «Досугов».

Весь день терзался Александров нестерпимой мукой праздного ожидания. Около восьми часов вечера стали приходить из отпуска юнкера, подымаясь снизу по широкой лестнице. Перекинувшись телом через мраморные перила, Александров еще издали узнал Венсана и затрепетал от холодной дрожи восторга, когда прочитал в его широкой сияющей улыбке знамение победы.

Держать в руках свое первое признанное сочинение, вышедшее на прекрасной глянцевиной бумаге, видеть свои слова напечатанными черным, вечным, несмываемым шрифтом, ощущать могучий запах типографской краски... что может сравниться с этим удивительным впечатлением, кроме (конечно, в слабой степени) тех неописуемых блаженных чувств, которые испытывает после страшных болей впервые родившая молодая мать, когда со слабою прелестною улыбкой показывает мужу их младенца-первенца.

Во всяком случае, наплыв радости был так бурен, что Александров не мог стоять на ногах. Его тело требовало движения. Он стал перепрыгивать без разбега через одну за другой кровати, стоявшие ровным, стройным рядом, туда и обратно и еще один раз. Только тогда он уселся на своей койке и принялся за чтение с бьющимся сердцем. Он прочитал сюиту два раза, сначала с летучей беглостью, потом более внимательно – и так и так произведение было восхитительно. Он дал его прочитать Венсану, а сам глядел через его плечо, поминутно

отнимая у него листки, чтобы прочитать вслух наиболее сильные места. Потом завладел «Вечерними досугами» весь первый курс четвертой роты, потом пришли сверстники-фараоны других рот, потом заинтересовались и господа обер-офицеры всех рот.

Слава юнкера, ставшего писателем, молниями бежала по всем залам, коридорам, помещениям и закоулкам училища. Спрос на номер «Вечерних досугов» был колоссальный.

К Александрову шла со своим шумом настоящая слава, которая отзывалась усталостью и головной болью.

Ночь он провел тяжело и нудно. Сначала долго не мог заснуть, потом ежеминутно просыпался. На тусклом зимнем рассвете встал очень рано с тяжестью во всем теле и с неприятным вкусом во рту.

Глава XIV. Позор

Рота умылась, вычистилась, оделась и выстроилась в коридоре, чтобы идти строем на утренний чай.

К перекличке, как и всегда, явился Дрозд и стал на левом фланге. Перекличка сошла благополучно. Юнкера оказались налицо. Никаких событий в течение ночи не произошло. Дрозд перешел на середину роты.

– Юнкер Александров, – вызвал он спокойным голосом.

– Я, – отозвался звучно Александров и ловко сделал два шага вперед.

– До моего сведения дошло, что вы не только написали, но также и отдали в журнальную печать какое-то там сочинение и читали его вчера вечером некоторым юнкерам нашего училища. Правда ли это?

– Так точно, господин капитан.

– Потрудитесь сейчас же принести мне это произведение вашего искусства.

Александров побежал к своему уборному шкафчику. Дорогой он думал сердито:

«Как же мог Дрозд узнать о моей сюите?.. Откуда? Ни один юнкер – все равно будь он фараон или обер-офицер, портупей или даже фельдфебель – никогда не позволит себе донести начальству о личной, частной жизни юнкера, если только его дело не грозило уроном чести и достоинства училища. Эко какое запутанное положение»...

В голову не могла ему прийти простая мысль о том, что самому Дрозду, или одному из других офицеров училища, или каким-нибудь внеучилищным их знакомым мог попасться под руку воскресный экземпляр «Вечерних досугов».

– Пожалуйста, господин капитан, – сказал Александров, подавая листки.

Дрозд сухо приказал:

– Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток с исполнением служебных обязанностей. А журналичко ваш я разорву на мелкие части и брошу в нужник... – И крикнул: – Фельдфебель, ведите роту.

И вот Александров в одиночном карцере. На лекции и на специальные военные занятия его выпускает на час, на два сторож, прикомандированный к училищу ефрейтор Перновского гренадерского полка. Он же приносит узнику завтрак, обед и чай с булкой.

У юнкеров было много своих домашних неписанных старинных обычаев, так сказать, «адатов». По одному из них юнкеру, находящемуся под арестом и выпускаемому в роту для служебных занятий, советовалось не говорить со свободными товарищами и вообще не вступать с ними ни в какие неделовые отношения, дабы не дать ротному командиру и курсовым офицерам возможности заподозрить, что юнкера могут делать что-нибудь тайком, исподтишка, прячась. Ведь травили же они свое начальство, совсем в открытую, ядовитыми и даже часто нецензурными прозвищами. А в этом законе собственного изделия была, несомненно, тень некоторого рыцарства.

Однако Александров все-таки не удержался от нарушения юнкерского обычая. За уроком гимнастики, работая на параллельных брусьях, он успел шепнуть Венсану:

– Голубчик Венсан, достаньте мне какую-нибудь книжку из ротной библиотеки и

передайте через сторожа... Ужасная тоска.

– Постараюсь, – сказал Венсан и быстро отошел прочь.

И правда: бедный Александров изнывал от скуки, безделья и унижения. Вчера еще триумфатор, гордость училища, молодой, блестяще начинающий писатель – он нынче только наказанный, жалкий фараон, уныло снующий взад и вперед на пространстве в шесть квадратных аршин. Иногда, ложась на деревянные нары и глядя в высокий потолок, Александров пробовал восстановить в памяти слово за словом весь текст своей прекрасной сюиты «Последний дебют». И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение: «А в сущности ведь, пожалуй, такое заглавие: „Последний дебют“, может показаться неточным и даже нелепым. Дебют – ведь это начало, как и в шахматах, это – первое, пробное выступление артистки, а у меня актриса Торова-Монская (фу, и фамилия-то какая-то надуманная и неестественная), у меня она, по рассказу, имеет и большой опыт и известное имя. Первый дебют – это и понятно и приемлемо и для читателей. Название же „Последний дебют“ вызывает невольное недоумение. Можно подумать, что моя все-таки уже не очень молодая героиня только и знала в своей актерской жизни, что дебютировала и дебютировала и всегда неудачно, пока не додебютировалась до самоубийства...» И вот опять стало в подсознание Александрова прокрадываться то темное пятно, та неведомая болячка, та давно знакомая досадная неловкость, которые он испытывал порою, перечитывая в двадцатый раз свою рукопись. И чем более он теперь вчитывался мысленно, по памяти, в «Последний дебют», тем более он находил в нем корявых тусклых мест, натяжек, ученического напряжения, невыразительных фраз, тяжелых оборотов.

«Нет, это мне только так кажется, – пробовал он себя утешить и оправдаться перед собою. – Уж очень много было в последние дни томления, ожидания и неприятностей, и я скис. Но ведь в редакциях не пропускают вещей неудовлетворительных и плохо написанных. Вот принесет Венсан какую-нибудь чужую книжку, и я отдохну, забуду сюиту, отвлекусь, и опять все снова будет хорошо, и ясно, и мило... Перемена вкусов...»

В шесть часов вечера в свободное послеобеденное время сторож, перновский ефрейтор, постучался в решетчатую дверь карцера.

– Вам, господин юнкер, книжку какуюсь принесли. Извольте преполучить.

Эта книга, сильно потрепанная, была вовсе незнакома Александрову.

«Казачья. Повесть. Сочинение графа Толстого», – прочитал он на обложке.

«Должно быть, не очень уж интересно, что-то из истории... но для кутузки и такое кушанье подойдет».

– Скажи господину юнкеру, что очень благодарю.

Начал он читать эту повесть в шесть с небольшим вечера, читал всю ночь, не отрываясь, а кончил уже тогда, когда утренний ленивый белый свет проник сквозь решетчатую дверь карцера.

– Что же это такое, – шептал он, изнеможенный, потрясенный и очарованный, ероша и крутя отчаянно волосы на голове. – Господи, что же это за великое чудо? Ну я понимаю: талант, гений, вдохновение свыше... это Шекспир, Гете, Байрон, Гомер, Пушкин, Сервантес, Данте, небожители, витавшие в облаках, питавшиеся амброзией и нектаром, говорившие с богами, и так далее и тому подобное... То есть я не понимаю, но с благоговением признаю и преклоняюсь. Но, господи боже мой, как же это так. Простой, обыкновенный человек, даже еще и с титулом графа, человек, у которого две руки, две ноги, два глаза, два уха и один нос, человек, который, как и все мы, ест, пьет, дышит, сморкается и спит... и вдруг он самыми простыми словами, без малейшего труда и напряжения, без всяких следов выдумки взял и спокойно рассказал о том, что видел, и у него выросла несравненная, недостижимая, прелестная и совершенно простая повесть.

И Александров, подобно Ленину, увидевшему впервые на станции горы, начал с блаженным ненасытным голосом в душе перечислять:

«Ну Ленин – это барин, это интеллигент, что о нем говорить. А дядя Ерошка! А Лукашка! А Марьянка! А станичный сотник, изыскавшийся так манерно. А застреленный

абрек! А его брат, приехавший в челноке выкупать труп. А Ванюшка, молодой лакеишка с его глупыми французскими словечками. А ночные бабочки, выходящие вокруг фонаря. „Дурочка, куда ты летишь. Ведь я тебя жалею...“

И тут вдруг оборвался молитвенный восторг Александрова: «А я-то, я. Как я мог осмелиться взяться за перо, ничего в жизни не зная, не видя, не слыша и не умея. Чего стоит эта распроклятая из пальца высосанная сюита. Разве в ней есть хоть малюсенькая черточка жизненной правды. И вся она по бедности, бледности и неумелости похожа... похожа...»

В этот момент его память внезапно как бы осветилась, и сразу ясной стала бередившая его недавно тревога, причиняемая какой-то необъяснимой болячкой, нудным и неловким пятном.

«Да, – сказал он с горьким мужеством, – твой „Последний дебют“, о несчастный, похож не на что иное, как на те глупые стихи, которые ты написал в семилетнем возрасте:

Скорее, о птички, летите
Вы в теплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет уж лето у нас.

В лугах запестреют цветочки,
И солнышко их осветит,
Деревья распустят листочки,
И будет прелестнейший вид.

И, ударив изо всех сил ладонью по дубовому столу, он сказал громко:

– К черту! Конец баловству!

Дрозд продержал Александрова вместо трех суток только двое. На третий день утром он пришел в карцер и сам выпустил арестованного.

– Вы знаете, юнкер Александров, – спросил он, – за что вы были арестованы?

– Так точно, господин капитан. За то, что я написал самое глупое и пошлое сочинение, которое когда-либо появлялось на свет божий.

– Ну нет, – возразил Дрозд мягко, – унижение паче гордости. Очень может быть, что ваш труд имеет свои несомненные достоинства. Но вина ваша заключается в том, что вы небрежно изучали военные уставы и особенно устав внутренней службы. Там ясно сказано: «Если кто из военнослужащих напишет какую-либо рукопись и захочет отдать ее для напечатания, то должен об этом сообщить и рукопись представить своему непосредственному начальнику». Вы, например, – вашему фельдфебелю. Он сообщает о вашем намерении и вручает вашу рукопись мне. Я – командиру батальона, последний – начальнику училища. Таким образом, его превосходительство является вашим последним судьей и разрешителем. В случае разрешения для печати оригинал ваш идет в обратном порядке вниз, вплоть до фельдфебеля, который и сообщает вам о разрешении или воспрещении. Понятно?

– Так точно, господин капитан.

– Ну, теперь идите в роту и, кстати, возьмите с собою ваш журнальчик. Нельзя сказать, чтобы очень уж плохо было написано. Мне моя тетушка первая указала на этот номер «Досугов», который случайно купила. Псевдоним ваш оказался чрезвычайно прозрачным, а кроме того, третьего дня вечером я проходил по роте и отлично слышал галдеж о вашем литературном успехе. А теперь, юнкер, – он скомандовал, как на учении: – На место. Бегом ма-а-арш.

Александров больше уже не перечитывал своего так быстро облинявшего творения и не упивался запахом типографии. Верный обещанию, он в тот же день послал Оленьке по почте номер «Вечерних досугов», не предчувствуя нового грядущего огорчения.

Было очень редким примером рассеянности и невнимания то обстоятельство, что, перечитавши бесконечно много раз свой «Последний дебют», он совсем небрежно отнесся к посвящению, пробегая его вскользь. А между тем в посвящение вкралась роковая ошибка.

Посвящается Ю. Н. Син...никовой.

Но сильна, о могучая, вечная власть первой любви! О, незабываемая сладость милого имени! Рука бывшей, но еще не умершей любви двигала пером юноши, и он в инициалах, точно лунатик, бессознательно поставил вместо буквы «О» букву «Ю». Так и было оттиснуто в типографии.

Через два дня Александров получил зловеший, ядовитый ответ:

«Я получила журнал с Вашим сочинением. Говоря по правде, Вы свободно могли бы не утруждать себя этой присылкой. Судя по начальной букве „Ю“, посвящение сделано не мне, а какой-то другой особе, которой имя начинается на букву „Ю“.

Так же странной мне показалась и подпись под произведением. Очевидно, господин Алехан Андров – знатный сын востока – и есть автор этого замечательного создания, прочитать которое у меня не было ни свободного времени и ни малейшего желания.

По некоторым причинам я вряд ли смогу когда-нибудь увидеться с Вами, и потому прощайте.

О. Синельникова».

Через недели две-три, в тот час, когда юнкера уже вернулись от обеда и были временно свободны от занятий, дежурный обер-офицер четвертой роты закричал во весь голос:

– Юнкер Александров. В приемную, на свидание.

Александров побежал к нему:

– Не знаете ли кто?

– Не знаю. Какой-то шпак.

Шпаками назывались в училище все без исключения штатские люди, отношение к которым с незапамятных времен было презрительное и пренебрежительное. Была в ходу у юнкеров одна старинная песенка, в которую входил такой куплет:

Терпеть я штатских не могу
И называю их шпаками,
И даже бабушка моя
Их бьет по морде башмаками.

Зато военных я люблю,
Они такие, право, хваты,
Что даже бабушка моя
Пошла охотно бы в солдаты.

Александров быстро, хотя и без большого удовольствия, сбежал вниз. Там его дожидался не просто шпак, а шпак, если так можно выразиться, в квадрате и даже в кубе, и потому ужасно компрометантный. Был он, как всегда, в своей широченной разлетаке и с таким же рябым, как кукушечье яйцо, лицом, словом, это был знаменитый поэт Диодор Иванович Миртов, который в свою очередь чувствовал большое замешательство, попавши в насквозь военную сферу.

– Я только на минутку, Алеша. Пришел поздравить вас с рождением первенца и передать вам гонорар, десять рублей. И уж вы меня простите, сейчас же бегу домой. Сижусь здесь, и все мне кажется: а вдруг вы все сейчас начнете стрелять. Адье, Алеша, и не

забывайте мой дом на голубятне.

И он так быстро исчез, точно провалился сквозь театральный люк.

Свежая совесть подсказала было юнкеру бежать, вернуть поэта назад и отдать ему деньги, взятые за ничего не стоящую сюиту, но разыграть такую неуклюжую сцену в присутствии дежурного офицера (ведь Миртов, несомненно, будет противоречить) показалось ему зазорным и постыдным.

Десять рублей – это была огромная, сказочная сумма. Таких больших денег Александров никогда еще не держал в своих руках, и он с ними распорядился чрезвычайно быстро: за шесть рублей он купил маме шевровые ботинки, о которых она, отказывавшая себе во всем, частенько мечтала как о невозможном чуде. Он взял для нее самый маленький дамский размер, и то потом старушке пришлось самой сходить в магазин переменить купленные ботинки на недомерок. Ноги ее были чрезвычайно малы.

На два рубля Александров и Венсан два раза угощались савостьяновскими пирожными, посылая за ними служащего. На остальные же два они в воскресенье пошли в Тетерсал и около часа ездили верхом, что считалось утонченнейшим наслаждением.

Часть II

Глава XV. Господин обер-офицер

Правильно и мудро сказал когда-то знаменитый писатель Диодор Иванович Миртов (с которым Александров после своего литературного провала перестал видаться из-за горького и мучительного стыда):

– Время течет, течет. Ничто его не остановит и ничто не повернет обратно. Аминь.

Середина и конец 1888 года были фатальны для мечтательного юноши, глубоко принимавшего к сердцу все радости и неудачи. Черных дней выпадало на его долю гораздо больше, чем светлых: тоскливое, нудное пребывание в скучном положении молодого, начинающего фараона, суровая, утомительная строевая муштровка, грубые окрики, сажание под арест, назначение на лишние дневальства – все это делало военную службу тяжелой и непривлекательной. А тут еще постоянные нелады с точной наукой, которая называется военной фортификацией. Преподает ее полковник инженерных войск Колосов, человек лютой строгости, холодный и безжалостный. Он знаменит во всей Москве как строитель солидного памятника русским воинам, живот свой положившим в русско-турецкую войну 1877—78 годов. Но эта слава не мешает ему губить и топить беспомощных юнкеров, как слепых щенят. Его система преподавания была проста, кратка и требовательна до ужаса. Войдя в аудиторию и не здороваясь, он непременно должен был найти уже готовыми все приспособления для лекции: вычищенную до блеска классную доску, чистую, слегка влажную губку и несколько мелков, тщательно отточенных в виде лопаточек и обернутых в белые ровные бумажки. Он ничему не учил. Он брал мелок, подходил с ним к доске и странным, повелительным, беглым голосом произносил:

– Амбразура, или полевой окоп, или люнет, барбет, траверс и так далее. – Затем он начинал молча и быстро чертить на доске профиль и фас укрепления в проекции на плоскость, приписывая с боков необычайно тонкие, четкие цифры, обозначающие фуги и дюймы. Когда же чертеж бывал закончен, полковник отходил от него так, чтобы его работа была видна всей аудитории, и воистину работа эта отличалась такой прямизной, чистотой и красотой, какие доступны только при употреблении хороших чертежных приборов.

Лекция оканчивалась тем, что Колосов, вооружившись длинным тонким карандашом, показывал все отдельные части чертежа и называл их размеры: скат три фута четыре дюйма. Подъем четыре фута. Берма, заложение, эскарп, контрэскарп и так далее. Юнкера обязаны были карандашами в особых тетрадках перечерчивать изумительные чертежи Колосова. Он редко проверял их. Но случалось, внезапно пройдя вдоль ряда парт, он останавливался,

показывал пальцем на чью-нибудь тетрадку и своим голосом без тембра спрашивал:

– Паук? Корзинка с земляникой? Хамелеон? – И, сделав малую паузу: – Единица!

Он был очень самостоятелен и почти никогда не дожидался звонка на перемену. Просто доставал надушенный платок из тонкого полотна, отряхивал свою грудь и руки от еле заметных пылинок мела, встряхивал платком и, не сказав ни слова, уходил, когда ему хотелось.

Александров никак не мог удовлетворить этого строгого, бесчувственного, всегда молчаливого идола. Чертить он умел отлично, и линия у него выходила щеголеватой ровной, но основных начал фортификации он не мог преодолеть. Его воображению никак не удавалось видеть предметы, построенные из земли и камня, в проекции на плоскость, то есть не имеющими ни материи, ни веса. Если бы ему показали люнет, барбет или амбразуру, сделанными из глины или папье-маше, он, наверное, понял бы мгновенно ошибку своего геометрического неведения. Но об этом, увы, никто не хотел позаботиться. Почти в каждую репетицию Колосов молча ставил ему неудовлетворительные баллы, а Дрозд лишал его отпуска, этой отрады, улады и моральной поддержки.

Но еще больше терзали бедного фараона Александрова личные, интимные горести и разочарования: позорная измена Юлии Синельниковой, холодная и насмешливая отставка, полученная от Ольги Синельниковой, и, наконец, этот ужасный разгром литературной великой карьеры, разгром, признанный им самим с горьким отчаянием...

И Александров загрустил...

Но время течет, течет и в своем бесконечном течении потихоньку сглаживает все острые углы, подтачивает скалы, рассасывает мели, изменяет пейзажи и фарватеры.

Теперь Александров – фараон только по прозвищу. Гимнастика и фехтование развернули его грудь вширь. Вся трудность воинских упражнений и военного строя отошла бесследно. Ружье не тяжелит, шаг выработался большой и крепкий, а главное, появилось в душе гордое и ответственное сознание: я – юнкер славного Александровского училища, и трепещите все, все недруги. Даже с неодолимой фортификацией начались очень милые отношения. Однажды вечером, подготавливаясь к завтрашней репетиции по проклятой фортификации, Александров громко и злобно чертыхнулся:

– Нет, когда же я, черт побери, освоюсь с этой фортификационной путаницей, да будут прокляты и полковник Колосов и его учитель Цезарь Кюи.

Сосед его по койке, скромный, тихий, благовоспитанный Прибиль, отличный пианист, сказал сочувственно:

– Послушайте-ка, друг Александров, не сердитесь на то, что я ввязываюсь не в свое дело. Я уже давно замечаю, что у вас постоянные недоразумения и огорчения с фортификацией. Мне кажется, что я могу вам немножко помочь, если вы, конечно, позволите. Все дело в сущем пустяке, который можно в одну минуту удалить. Вот, например, мой портсигар (Прибиль вынул из кармана простенький, изящный портсигар из карельской березы). Предположим, что он вам очень понравился и вам хочется заказать мастеру совершенно точно такой же по качеству и по размерам. Что вы для этого делаете? Вы приходите к мастеру и говорите: «Любезный мастер, сделайте мне хороший портсигар из карельской березы, шести дюймов в длину, четырех в ширину и двух в толщину». Не так ли? Для того чтобы заказ лучше удержался в его памяти, вы можете взять листик бумаги, карандаш и разграфленную линейку и начертить все размеры, надписав: длина, ширина, толщина. Ведь не придет же вам в голову написать этот портсигар для мастера на полотне масляными красками или пастелью, хотя вы и отличный художник? Вы смотрите на фортификационные чертежи как на стереометрию, а они только планиметрия. Я видел, как вы тщетно корпели и возились над амбразурами. Очевидно, у вас из памяти не выходили старинные громадные амбразуры времен д'Артаньяна и Вобановских укреплений. А теперешняя амбатура – это просто мелкая канавка, которую вы сами выкопали, чтобы не видно было вашего ружья. Положительно, вы делаете слишком много чести фортификации, и это вам идет во вред.

Он замолчал. Александров некоторое время сидел с полуоткрытым ртом. Наконец, со стуком закрыв его, он сказал:

– Прибиль, сделайте мне милость, назовите меня идиотом.

– Что вы, что вы, Александров. Бог с вами.

– Нет уж, пожалуйста, назовите.

И так они пререкались до тех пор, пока стоявший рядом Жданов не произнес:

– Хотя и не верю своим собственным словам, но вы идиот, мистер Александров.

– Спасибо, Жданов. Ведь это просто невероятно, в каком я до сих пор был нелепом заблуждении. Теперь мне сразу точно катаракт с обоих глаз сняли. Все заново увидел благодаря волшебнику Прибилю (имя же его будет для меня всегда священо и чтимо).

На другой же день, во время очередной репетиции, Александров дал своим сокурсникам небольшое представление.

– Александров! – вызвал его своим бесцветным голосом полковник, у которого и глаза и перо, казалось, уже готовились поставить привычную единицу, – потрудитесь начертить двойной траверс и указать все его размеры.

Александров подошел к доске (и все сразу узнали походку Колосова), вынул из кармана тщательно очищенный по колосовской манере мелок, завернутый аккуратно в чистую белую бумагу, и (все даже вздрогнули) совершенно колосовским, стеклянным голосом громко объявил:

– Двойной траверс.

Он чертил замечательно скоро и уверенно. Линии у него выходили тоньше, чем у Колосова, и менее выпуклы, но так же красивы. Окончив чертеж и подписав все цифры, Александров со спокойной отчетливостью назвал все линии и все размеры, не произнеся ни одного лишнего слова, не сделав ни одного ненужного движения, спрятал мелок в карман и по-строевому вытянулся, глядя в холодные глаза полковника.

Колосов помолчал. Впервые юнкера увидели на его каменном лице что-то похожее на удивление.

– Почему же раньше, – спросил он, – почему раньше ваши чертежи были похожи на какие-то пейзажи и вы постоянно путались в названиях и цифрах? Что такое с вами сделалось?

– Я просто решил следовать до мельчайших подробностей вашим урокам, господин полковник.

– А может быть, вам надоели постоянные единицы?

– Отчасти, господин полковник.

– Гмм. Теперь вы меня поставили в очень неудобное положение. Поставить вам двенадцать я не могу, ибо это знак абсолютного совершенства, какого в мире не существует. Одиннадцать – это самый высший балл, на который знаю фортификацию только я. Поэтому не обижайтесь, что на этот раз я поставлю вам только десять. Можете сесть.

Это была большая победа, окрылившая Александрова. После нее он сделался лучшим фортификатором во всем училище и всегда говорил, что фортификация – простейшая из военных наук.

Текло время. Любовные раны зажили, огорчения рассеялись, самолюбие успокоилось, бывшие любовные восторги оказались наивной детской игрой, и вскоре Александровым овладела настоящая большая любовь, память о которой осталась надолго, на всю его жизнь...

Выветрилось понемножку и позорное сознание о злой неудаче в литературе. Верный инстинкт подсказал Александрову доброе противоядие: он опять вернулся к рисованию и живописи. Во все отпускные дни (а их теперь стало гораздо больше после победы над Колосовым) он ходил в Третьяковскую галерею, Строгановскую школу, в Училище живописи и ваяния или брал уроки у Петра Ивановича Шмелькова⁵. Множество картонов и

⁵ Шмельков – талантливый рисовальщик. Он забыт современными русскими художниками. См. о нем монографию, написанную французским писателем Denis Roches. (Прим. автора.)

блокнотов истратил он, делая портретные изображения карандашом, углем и акварелью со своих товарищей, начальников и учителей. Эта работа спорилась послушно и приятно. Новый клин окончательно вышиб клин старый.

Между прочим, подходило понемногу время первого для фараонов лагерного сбора. Кончились экзамены. Старший курс перестал учиться верховой езде в училищном манеже. Господа обер-офицеры стали мягче и доступнее в обращении с фараонами. Потом курсовые офицеры начали готовить младшие курсы к настоящей боевой стрельбе полными боевыми патронами. В правом крыле училищного плаца находился свой собственный тир для стрельбы, узкий, но довольно длинный, шагов в сорок, наглухо огороженный от Пречистенского бульвара.

Туда каждый день с утра до вечера водили молодых юнкеров поочередно, по четыре, на стрельбу, следили за тем, чтобы юнкер при выстреле не зажмурился, не вздрагивал при отдаче, глядел бы точно на мушку сквозь прорезь прицела и нажимал бы спуск не рывком, но плавным движением.

В другом конце тира ставились картонные мишени с концентрическими черными окружностями, попадать надо было в центральный сплошной кружок. Благодаря малости помещения выстрелы были страшно оглушительны, от этого юнкера подолгу ходили со звоном в голове и ушах и едва слышали лекции и даже командные слова.

Но еще труднее с непривычки была чересчур сильная отдача ложа в плечо при выстреле. Она была так быстра и тяжела, что, ударяясь в тринадцатифунтовую берданку, чуть не валит начинающего стрелка с ног. Оттого-то у всех фараонов теперь правое плечо и правая ключица в синяках и по ночам ноют.

Но и домашнее обучение стрельбе окончено. «Умей чистить и протирать винтовку, чтобы она и снаружи и внутри у тебя блестела, как зеркало». Наступает утро, когда весь батальон, со знаменем, строгим строем, в белых каламянковых рубашках, под восхитительную музыку своего оркестра, покидает плац училища и через всю Москву молодецки марширует на Ходынское поле в старые-престарые лагеря.

Воспоминание о них остается слабым и незначительным для Александра. Каждый день стрельба и стрельба, каждый день глазомерные и компасные съемки, каждый день батальонные учения и рассыпной строй. Идут постоянные дожди, когда юнкера сидят по баракам и в тысячный раз переизобретают уставы и «словесность».

Но самое главное то, что унижает фараонов до нуля, — это громадная роль и всеподавляющее значение, которые теперь легли на господ обер-офицеров.

На днях выборы вакансий, производство, подпоручичьи эполеты, высокое звание настоящего обер-офицера. Фараоны где-то вдали, внизу, в безвестности и забвении. И они чрезвычайно были обрадованы, когда дня за три до производства старшего курса в первый офицерский чин их распустили в отпуск до конца августа.

Александров провел остаток лета вместе с мамой у своего шурина, мужа сестры Зины, в его чернореченском лесничестве, находящемся под Коломной. Там он много охотился, ловил рыбу и шлялся по лесам за ягодами и грибами.

Осталось одно неприятное и стыдное воспоминание о жене лесника Егора, Марье, красивой, здоровой бабенке, которая ему вскоре опротивела до смерти.

Вернулся он в училище настоящим обер-офицером, выросший чуть ли не на голову, с хриплыми басовыми нотами в голосе, загорелый, отрастивший настоящие усы в один миллиметр длиною.

О, как ему знакомы, близки и жалки были беспомощные неуклюжести новичков, их растерянность, их неумение найти тон. Он никогда не забывал своих первых жутких впечатлений в училище, когда был, точно чудом, перенесен из игрушечной жизни в суровую и строгую настоящую жизнь.

Он был хорошим обер-офицером, всегда готовым на помощь и на защиту фараону. Но

старых адатов он не касался. Он чувствовал, что в них есть и надобность и скрепляющая сила.

Он был пламенным поклонником темпа.

– Темп, – говорил он фараонам, – есть великое шестое чувство. Темп придает уверенность движениям, ловкость телу и ясность мысли. Весь мир построен на темпе. Поэтому, о! фараоны, ходите в темп, делайте приемы в темп, а главное, танцуйте в темп и умеете пользоваться темпом при фехтовании и в гимнастических упражнениях.

Он и сам не подозревал того, что очень любившие его фараоны между собою называли его «обер-офицер Темп».

Ротный командир Дрозд, не стесняясь, говорил иногда, что он очень жалеет, почему Александров не дотянул на экзаменах до общего среднего балла, который дал бы ему возможность стать портупей-юнкером, командиром взвода.

Но, увы! Полковник Колосов не мог простить ему воистину волшебного просияния в фортификации и к круглым десяткам упрямо присоединял прошлые единицы, тройки и пятерки, поставленные еще на репетициях, чем и понизил значительно шансы Александрова. Увы! Этот слишком земной человек не веровал в чудеса и не ценил их. Но это не огорчало Александрова. Он наслаждался спокойной военной жизнью, ладностью во всех своих делах, доверием к нему начальства, прекрасной пищей, успехами у барышень и всеми радостями сильного мускулистого молодого тела.

Глава XVI. Дрозд

В четвертой роте числится сто юнкеров, но на рождественские каникулы три четверти из них разъехалось из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам: кто в Тифлис, кто в Полтаву, Полоцк, Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения. Им хорошо: сплошь две недели отдыха, веселия, приключений, охоты, поездок ряжеными; никакой заботы и памяти об училище. Они вернутся в него лишь десятого января, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие, с большим запасом домашних варений, солений, сухих яблоков, малороссийского сала, чурчхелы, бадриджанов и прочей снеди.

А вот коренным москвичам – туго. Изволь являться трижды в неделю в училище, да еще ровно к семи часам утра, и только для того, чтобы на приветствие Дрозда (командира четвертой роты, капитана Фофанова) проорать: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». А зачем? Мы, здешние, также никуда не убежим, как и иногородние.

Приблизительно так бурчит про себя господин обер-офицер Александров, идя торопливыми большими шагами по Поварской к Арбату. Вчера была елка и танцевали у Андриевичей. Домой он вернулся только к пяти часам утра, а подняли его насилу-насилу в семь без двадцати. Ах, как бы не опоздать! Вдруг залепит Дрозд трое суток без отпуска. Вот тебе и Рождество...

Глаза у Александрова еще не совсем проснулись после краткого сна, в них чувствуется резь и усталость. Но запах снега так вкусен, мороз так весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему телу... Через две минуты Александров спрашивает самого себя с удивлением: «Где же моя усталость, недовольство и кислота?» Их нет, исчезли. Тело не имеет больше веса. Эта невесомость – одно из блаженнейших ощущений на свете, но оно негативно, оно так же незаметно и так же не вызывает благодарности судьбе, как тридцать два зуба, емкие легкие, железный желудок; поймет его Александров только тогда, когда утеряет его навсегда; так, лет через двадцать.

Снег тонко скрипит под его лакированными сапожками. Снег скрипит под ногами у всех пешеходов. Он визжит под полозьями саней, оставляющих за собою в нем блестящие, скользкие полосы, а на заворотах он крепко хрустит, смятый полозьями. Изо всех труб высоко над домами стоят, неподвижно устремясь в зеленое небо и там слегка курчавясь, белые прямые столбы дыма. Вот налево Савостьянов, булочная, а наискосок Арбатской

площади – белое длинное здание Александровского училища на Знаменке, с золотым малым куполом над крышей, знак домашней церкви. Слава богу, минута в минуту. Не опоздал.

Портупей-юнкер Золотов – круглый сирота; ему некуда ехать на праздники, он заменяет фельдфебеля четвертой роты. Он выстраивает двадцать шесть явившихся юнкеров в учебной галерее в одну шеренгу и делает им перекличку. Все в порядке. И тотчас же он командует: «Смирно. Глаза налево». Появляется с левого фланга Дрозд и здоровается с юнкерами.

Мальчишеские прозвища удивительно метки. Капитан Фофанов вислоплеч и длиннонос. Его худошавое лицо смугло и румяно. Черные волосы на голове разделены косым четким пробором; легкой красиво-неуклюжей перевалочкой и боковым наклоном головы, при внимательном и быстром взгляде, он действительно напоминает птицу, и именно черного дрозда. Он очень требователен и суров в делах службы и строевого учения. «Без отпуска», карцер, дежурства и дневальства вне очереди так и сыпятся из него в несчастливые для юнкеров дни. И все это с величайшей вежливостью: «Юнкер Александров, будьте любезны отправиться на двое суток под арест, с исполнением служебных обязанностей». Но вне условий, требующих крутой дисциплины, он фамильярный друг, защитник и всегдашняя выручка. Эти его милые черты хорошо знакомы всем проказливым юнкерам четвертой роты и особенно Александрову, самому неистовому баловнику. Но зато Дрозд ненавидит малейший оттенок лжи и требует от провинившегося юнкера мгновенного и точного признания.

Однажды юнкер Александров был оставлен без отпуска за единицу по фортификации. Скитаясь без дела по опустевшим залам и коридорам, он совсем ошалел от скуки и злости и, сам не зная зачем, раскалил в камине уборной докрасна кочергу и тщательно выжег на красной фанере огромными буквами слово «Дрозд».

В понедельник утром, после утренней переклички, еще не распуская роты, выдержав паузу, капитан спросил, по обыкновению протягивая перед некоторыми словами длинный ять (он был чуть-чуть заикой):

– Э-какой это болван э-начертил в нужнике э-какую-то похабщину?

Александров в ту же секунду громко крикнул из строя:

– Я, господин капитан!

Командир совсем по-птичьи окинул юнкера боковым взглядом и произнес с презрительным равнодушием:

– Э-так я и знал. – И скомандовал роте: – Разойдитесь!

Вечером, перед чаем, когда все зубрили, сидя на своих койках, уроки к завтраму, юнкер Александров увидел Дрозда, проходившего по галерее, и подбежал к нему. Юнкер весь день томился, подавленный великодушием начальника.

– Господин капитан, позвольте мне попросить у вас прощения.

– Э-дурачок, – протянул Дрозд. – Э-пустяки. Ступай заниматься, э-чертежник ты этакий!

И слегка толкнул его ладонью в спину. Но в голосе Дрозда и его прикосновении юнкер почувствовал теплоту.

Так воспитывал Дрозд своих девятнадцатилетних птенцов в проворном повиновении, в безусловной правдивости, на широкой развязке взаимного доверия.

Дрозд, заложив руки за спину, медленно, неуклонно идет вдоль фронта, зорко оглядывая каждое лицо, каждую пуговицу, каждый пояс, каждый сапог. Рядом с Александровым стоит крепко сбитый широкоплечий чернявый Жданов. Он нехорошо бледен, и белки его глаз слюняво желтоваты.

– Э-нездоров? – спрашивает Дрозд.

– Никак нет, господин капитан. Здоров.

Дрозд поводит туда-сюда острым подозрительным носом.

– Э-какую гадость вчера пил? – спрашивает он брезгливо.

Юнкер жмется, но тотчас отвечает:

– В гостях давали ананасный ликер, господин капитан.

– Ффу, какая мерзость! – морщится Дрозд. – Э-это не ликер, а дерьмо. И зачем тебе пробовать э-ликеры. Ну, выпей стакан красного вина, и э-довольно с тебя. А лучше и э-совсем не пей. Пьют от скуки паршивые неудачники, а перед тобою э-целый мир впереди. Будь весел и пьян э-без вина.

Подходит к концу докучный осмотр. У юнкеров чешутся руки и горят пятки от нетерпения. Праздничных дней так мало, и бегут они с такой дьявольской быстротой, убегают и никогда не вернутся назад!

Но Дрозд выходит на середину фронта, достает из отворота рукава какую-то бумажку и не спеша ее разворачивает. «Да поскорее ты, Дроздище!» – мысленно понукает его Александров.

Дрозд начинает читать, мучительно растягивая свои яти:

– По распоряжению начальника училища сегодня наряжены на бал, имеющий быть в Екатерининском женском институте, двадцать четыре юнкера, по шести от каждой роты. От четвертой роты поедут юнкера:

Он делает небольшим молчанием двоеточие, совсем маленькое, всего в полторы секунды, но в этот короткий промежуток сотни тревожных мыслей пробегают в голове Александрова.

Сегодня его день так полно и счастливо занят, что даже совсем не остается места для семейных радостей. К десяти часам он должен ждать в Зоологическом саду Наташу Манухину. Они будут кататься с великолепных ледяных гор. Какое острое наслаждение нестись стремительно вниз на маленьких салазках по отвесной сверкающей дороге, подвернув левую ногу под себя, а правой, как рулем, давая прямое направление волшебному лету. Правда, Наташа придет не одна, а в сопровождении скучной англичанки, похожей на птицу марабу. Но, к счастью, гувернантка не любит кататься с гор и, кажется, считает это одним из русских варварств. Она будет торчать на вышке, кутая в широкое обезьянье боа свой красный британский нос. А Наташа назло ей будет требовать еще и еще, и в последний раз еще и в самый-самый последний. Лицо Александрова слегка щекочет Наташина котиковая шубка, и как сладко пахнет эта шубка мехом и тонкими неизъяснимыми духами, и сама Наташа, наверно, гордится своим кавалером: «Как ловок и смел этот милый Александров и, кажется, немного влюблен в меня». Ах, Наташа, совсем не немного, наоборот: до безумия.

В час завтрак у Шпаковских, а после завтрака веселая репетиция водевиля «Не спросясь броду, не суйся в воду», где Александров играет Макарку, а также и в живых картинах. Должно быть, и потанцуют немного. В этом большом, уютном, безалаберном доме две девочки, три барышни и всегда множество их подруг всяких возрастов. Там с утра до вечера поют, танцуют, устраивают игры, едят, влюбляются и звонко смеются. Александрову часто кажется, что он влюблен в младшую из барышень, в белокурую розовую Нину. Впрочем, все любви Александрова так многочисленны и скоропалительны, что сестра в шутку зовет его – господин Сердечкин.

Потом обед у Калмыковых, и тоже танцы. А затем – самое главное – вечером знаменитая елка в Благородном собрании, на которую съезжается вся молодая Москва: дети, подростки, барышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек: Машеньку Полубояринову, Сонечку Аничкову и Зою Скрипицыну. Бал, на котором танцуют, после того как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей. И, если говорить по правде, уже не в Машеньку ли влюбился, по-настоящему и мгновенно, несчастный юнкер в тот вечер, когда она играла Шопена, а он стоял, прислонившись к пианино, и то видел, то не видел ее нежное лицо, такое странное и такое изменчивое в темноте.

«Только не меня. Дорогой, золотой Дрозд, только, пожалуйста, не меня», – мысленно умоляет Александров.

– Э-Рихтер, – произносит капитан, – Жжданов, Бутынский, Карганов, Прибиль...

«Пронеси, пронеси, пронеси!» – умоляет судьбу Александров, изо всех сил стискивая зубы и кулаки. И вот падает холодно и непреклонно:

– И э-Александров. Кто хочет завтракать или обедать в училище, заявите немедленно дежурному для сообщения на кухню. Ровно к восьми вечера все должны быть в училище совершенно готовыми. За опоздание – до конца каникул без отпуска. Рекомендую позаботиться о внешности. Помните, что александровцы – московская гвардия и должны отличаться не только блеском души, но и благородством сапог. Тьфу, наоборот. Затем вы свободны, господа юнкера. Перед отправкой я сам осмотрю вас. Разойдитесь.

На лестнице Александров догоняет Дрозда. Последняя, отчаянная попытка.

– Господин капитан!

Дрозд останавливается на ступеньке, в птичий недоверчивый полуоборот к юнкеру.

– Э-что еще?

– Господин капитан, позвольте вам сказать, что я катался на коньках, и у меня подвернулась нога. Прямо ступить нельзя, такая боль.

– Э-врешь. Пойди в лазарет и принеси свидетельство.

Душа Александрова катится вниз, как с ледяной горы в Зоологическом.

– Господин капитан, – говорит он смущенно. – Положим, я могу себя осилить. Но у меня другие, важные причины.

– Ну?

– Нет перчаток.

Дрозд хмурится.

– Э-покажи руки.

Юнкер поворачивает обе руки ладонями вверх. Дрозд делает то же самое и сверяет руки свои и его.

– Ерунда. У нас одинаковый размер. Семь или семь с половиной, э-небольшая разница. Вечером я тебе пришлю мои, спросишь у фельдфебеля. Ступай. Ну, что же ты стоишь?

– Господин капитан, – робко говорит юнкер, вновь тронутый великодушием этого чудака. – Положим, перчатки у меня есть, только очень грязные, но я их могу вымыть. Но я должен вам сказать правду (сейчас Александров подпустит маленькую лесть). Я знаю, что вы все можете простить.

Дрозд перебивает его, угрожающе вздернув подбородок вверх.

– Э-далеко не все.

– Простить очень многое, если вам говорят правду.

Дрозд с сомнением косится на юнкера.

– Э-попутай, попутай у меня еще!

– И вот я вам должен признаться откровенно, что...

– Э-девчонки, должно быть?

– Точно так, господин капитан. Барышни. Приехали только на две недели в Москву из Пензы. Мои родственницы. Обещался быть в Благородном собрании на елке. Дал честное слово. Ужасно обидно будет обмануть их и подвести.

Но Дрозд упрямо трясет головою.

– Э-все равно поедешь. А женскую душу я знаю лучше тебя. Опоздал, не пришел – пускай сердится: в следующий раз будет ждать еще нетерпеливее. И кроме того, я тебе скажу (тут его голос смягчается), что бал Благородного собрания, это – толкучка, рынок, открытый вход, открытый для всех: купеческие дочери из Замоскворечья, немки, цирюльники, чиновники и другие шпаки всякие. А в Екатерининский институт на бал можно попасть лишь по строгому выбору, по именному, личному приглашению. В Екатерининском, э-дружок мой, учатся девицы лишь из самых древних, самых настоящих, дворянских фамилий. Истинная, столбовая русская аристократия не в Петербурге, голубчик, а в Москве, у нас. Не пропускай случая. Летом выйдешь в офицеры. Придется тебе надолго, если не навсегда, законопатиться в каком-нибудь Проскурове или Кинешме, и никогда ты в жизни не увидишь подобной прелести и красоты. Ну, разве воинская доблесть вытянет тебя вверх или чудом

попадешь в Академию, тогда – может быть... Но вернее всего, что навсегда нынешний бал останется для тебя, как прекрасный и э-неповторимый сон. И я тебе твердо говорю, что в пятницу ты сам же поблаговаришь меня. Э-иди, иди, юнкер.

Он ласково концами пальцев потрепал Александра по плечу и поспешно стал спускаться по лестнице.

«Что же, – подумал Александр. – Видно, так и быть. Хорошо еще, что не на весь день оставил в училище. Все-таки кое-куда поспею. А Машеньке Полубояриновой пошлю записку с посыльным. Да вот еще: пораньше вымыть замшевые перчатки... Ну и Дрозд! Все-таки с ним можно жить. На все смотрят, парады, встречи и церемонии, когда назначают юнкеров по выбору, он неизменно посылает и Александра. О, тут большая ревность! Все училище помнит, по старому преданию, о том, как застрелился в курилке юнкер Кувшинников, будучи не включенным в те двенадцать рядов со знаменем, которые были наряжены в почетный караул для встречи государя. Здесь дело чести! Да и правда, юнкер Александр не особенно красив, – признается сам себе Александр, – скажем, даже совсем некрасив. Но он лучше многих прыгает через деревянную кобылу и вертится на турнике, он отличный строевик, в танцах у него ритм и послушность всех мускулов, а лучше его фехтуют на рапирах только два человека во всем училище: юнкер роты его величества Чхеидзе и курсовой офицер третьей роты поручик Темирязов... А красота? Что такое мужская красота?»

Восемь без пяти. Готовы все юнкера, наряженные на бал. («Что за глупое слово, – думает Александр, – „наряженные“. Точно нас нарядили в испанские костюмы».) Перчатки вымыты, высушены у камина; их пальцы распялены деревянными расправилками. Все шестеро, в ожидании лошадей, сидят тесно на ближних к выходу койках. Тут же примостился и Дрозд. Он дает последние наставления:

– Следите за своим ножом и вилок и опрятностью на тарелке, если позовут вас ужинать. Рыбу – только вилок; можете помогать хлебной корочкой. Птицу в руки не брать. Ешьте небольшими кусками, чтобы не быть с полным ртом, когда соседка обратится к тебе с разговором. Девчонкам глупостей не врать, всякие чувства побоку и э-к черту-с. Начальнице и генералам кланяться придворным поклоном, как учил танцмейстер. Если начальница протянет руку, приложись, но, склонившись, не чмокай. За старшего Рихтер. Вот и все. Завидую вам.

– Поехали бы с нами, господин капитан, – говорит Александр.

– Э-куда мне. Стар.

Довод печальный, но для юнкеров убедительный. Дрозду тридцать шесть лет. Действительно, в эгоистичном измерении юнкеров, это – глубокая старость. Александр, например, твердо решил дожить только до тридцати лет, а потом застрелиться. Стоит ли продолжать жить древним старцем, хладеющим развалиной?

– Вы еще совсем молоды, господин капитан, – говорит с лицемерным сочувствием цветущий армянин Карганов.

Дрозд машет рукой.

– Где уж!.. куда уж!..

Уедут юнкера туда, где свет, музыка, цветы, прелестные девушки, духи, танцы, легкий смех, а Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру, где, кроме денщика, ждут его только два живых существа, две черные дворняжки, без признаков какой бы то ни было породы: э-Мальчик и э-Цыган. Говорят, что Дрозд выпивает по ночам в одиночку.

Служитель быстро взбегає по лестнице и навязяжку останавливается перед Дроздом:

– Лошади поданы, ваше высокоблагородие.

– Ну, с богом, – говорит Дрозд, вставая. – Верю, что поддержите блеск и славу родного училища. После танцев сразу на мороз не выходите. Остыньте сначала. Рихтер, ты за этим присмотришь.

– Слушаю, господин капитан.

А служитель, коренной, всезнающий москвич, возбужденно шепчет сбоку юнкерам:

– Четыре тройки от Ечкина. Ечкинские тройки. Серые в яблоках. Не лошади, а львы. Ямщик грозит: «Господ юнкеров так прокачу, что всю жизнь помнить будут». Вы уж там, господа, сколотитесь ему на чаишко. Сам Фотоген Павлыч на козлах.

Глава XVII. Фотоген Павлыч

– С богом. Одевайтесь, – приказал Дрозд. – Э-смотрите, носов не отморозьте. Семнадцать градусов на дворе.

Юнкера волнуются и торопятся. Шинели надеваются и застегиваются на бегу. Башлыки переброшены через плечо или зажаты под мышкой. Шапки надеты кое-как. Все успеется на улице.

Здесь – вольное, безобидное состязание с юнкерами других рот. Надо во что бы то ни стало первыми выскочить на улицу и завладеть передовой, головной тройкой. Весело ехать впереди других!

Но вот едва успели шестеро юнкеров завернуть к началу широкой лестницы, спускающейся в прихожую, как увидели, что наперерез им, из бокового коридора, уже мчатся их соседи, юнкера второй роты, по училищному обиходу – «звери», или, иначе, «извозчики», прозванные так потому, что в эту роту искони подбираются с начала службы юноши коренастого сложения, с явными признаками усов и бороды. А сзади уже подбежали и яростно напирают третья рота – «мазочки» и первая – «жеребцы». На лестнице образовался кипучий затор.

– Четвертая, не выдавай! – кричит голосистый Жданов где-то впереди.

Александров пробуравливается сквозь плотные, сбившиеся тела и вдруг, как пробка из бутылки, вылетает на простор. Он видит, что впереди мелким, но быстрым шагом катится вниз коротконогий Жданов. За ним, как будто не торопясь, но явно приближаясь к нему, сигает зараз через три ступеньки длинный, ногастый «зверь», у которого медный орел барашковой шапки отъехал впопыхах на затылок. Все трое в таком порядке сближаются на равные расстояния.

В эти доли секунды Александров каким-то инстинктивным, летучим глазомером оценивает положение: на предпоследней или последней ступени «зверь» перегонит Жданова. «Ах, если только хоть чуть-чуть нагнать этого долговязого, хоть коснуться рукой и сбить в сторону! Жданов тогда выскочит». Вопрос не в личной победе, а в поддержании чести четвертой роты.

И судьба ему помогает: правда, со внезапной грубостью. Кто-то сзади и с такою силою толкает Александрова, что его ноги сразу потеряли опору, а тело по инерции беспомощно понеслось вперед и вниз. Момент – и Александров неизбежно должен был удариться теменем о каменные плиты ступени, но с бессознательным чувством самосохранения он ухватился рукой за первый предмет, какой ему попался впереди, и это была пола вражеской шинели.

Оба юнкера упали и покатались вниз. Над ними, наступая на них, промчались бегущие ноги.

– Черт вас возьми! – заворчал «зверь». – Это прием неправильный. Я ушиб себе коленку.

В эту минуту Александров почувствовал, что и он сам ссадил себе локоть. Подымаясь, он сказал шутливо, но с сочувствием:

– На войне все приемы правильны. Позвольте, я помогу вам встать. Меня пихнули сзади, и, уверяю вас, что без вашей невольной помощи я разбился бы в лепешку, а так только локтем стукнулся.

– Ну, да уж ладно, – засмеялся «зверь», еще морщась от боли. – До свадьбы у нас обоих заживет. Пойдемте-ка.

В передовых санях, стоя, высился Жданов и орал во весь голос:

– Четвертая рота! Господа обер-офицеры! Сюда! – Теперь уже никто из чужой роты не

позволил бы себе залезть в эту тройку. Таково было неписаное право первой заявки.

Какими огромными, неправдоподобными, сказочными показались Александрову в отчетливой синеве лунной ночи рослые серые кони с их фырканием и храпом: необычайно широкие, громоздкие, просторные сани с ковровой тугой обивкой и тяжелые высокие дуги у коренников, расписанные по белому неведомыми цветами.

Белый пар шел из лошадиных ноздрей и от лошадиных спин, и сквозь него знакомый газовый фонарь на той стороне Знаменки расплывался в мутный радужный круг.

Ямщик перегибается с козел, чтобы отстегнуть волчью полость. Усы у него белые от инея, на голове большая шапка с павлиньими перьями. Глаза смеются.

– Садитесь, садитесь, господа юнкера. В дороге утрясется, всем слободно будет.

– Тебя ведь Фотоген Палычем зовут? – спрашивает Бутынский.

– Совершенно верно, – отвечает ямщик, обминаясь на козлах. Голос у него приятный, уверенный и немного смешливый. – А вы откуда знаете?

Находчивый Карганов, не задумываясь, отвечает:

– Кто же не знает знаменитого Фотоген Палыча?

Другие юнкера быстро подхватывают:

– Тебя вся Москва знает. Первый троечник в Москве. Не в Москве, а во всей России.

Это нам уж так повезло, в твои сани попасть.

Невинная лесть! Однако она доходит до крутого ямщицкого сердца.

– Буде, буде... наговорили.

Он тихо, но густо смеется: немного похоже на то, как довольно регочет жеребец, когда к нему в стойло входит конюх с мерой овса.

– Пошли, что ли? – кричит сзади ямщик нараспев.

Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз поерзал задом на сиденье и, слегка повернув голову, протянул внушительным баском:

– Тро-огай...

Заскрипели, завизжали, заплакали полозья, отдираясь от настывшего снега, заговорили нестройно, вразброд колокольцы под дугами. Легкой рысцой, точно шутя, точно еще балуясь, завернула тройка на Арбатскую площадь, сдержанно пересекла ее и красиво выехала на серебряный Никитский бульвар.

Никогда не забыть потом Александрову этой прелестной волшебной поездки! Ему досталось место лицом к лошадям, крайнее справа. Он мог свободно видеть косматую голову широкобокого коренника и всю целиком правую пристяжную, изогнувшую кренделем, низко к земле, свою длинную гибкую шею, и даже ее кровавый темный глаз с тупой, злой белизной белка. С удовольствием он чувствовал, как в лицо ему летят снежные брызги из-под лошадиных копыт. Но в душе его все-таки мелькала, как, может быть, и у других юнкеров, досадная мысль: где же, наконец, эта пресловутая, безумная скачка, от которой захватывает дух и трепыхает сердце? Или она только для пьяных московских купцов? А еще грозился лихо прокатить «юнкерей»!

Но эта дурная мысль так же быстро исчезла, как и пришла. В езде Фотогена есть магическая непонятная красота.

Пробежал назад Тверской бульвар, с его нарядными освещенными особняками. Темный Пушкин на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову. Напротив широкая белая масса Страстного монастыря, а перед ней тесная биржа лихачей и парных «голубков». Кто-то из юнкеров закурил. Александров с трудом достал свой кожаный портсигар и долго возился со спичками, упрямо гасшими на быстром движении. Когда же ему удалось разжечь папиросу и он поглядел перед собою, то он уже не мог узнать ни улиц, ни самой Москвы. Ехали какими-то незнакомыми чужими местами.

Какой великий мастер своего дела Фотоген Палыч! Вот он едет узкой улицей. Неизъяснимыми движениями вожжей он сдвигает, сжимает, съезживает тройку и только изредка негромко покрикивает на встречные сани:

– Берегись. Поберегись, извозчик!

Но только поворотит на улицу посвободнее, как сразу распустит, развернет лошадей во всю ее ширину, так что загнувшиеся пристяжные чуть не лезут на тротуары. «Эй, с бочками! держи права!» И опять соберет тесно свою послушную тройку.

«Точно закрывает и раскрывает веер, – думает Александров, – так это красиво!»

А сидящий с ним рядом смуглый Прибиль, талантливый пианист, бодает его головой в плечо и, захлебываясь, говорит непонятные слова:

– Крещендо и диминуэндо... Он – как Рубинштейн!

Временами неведомая улица так тесна и так запружена санями и повозками, что тройка идет шагом, иногда даже приостанавливается. Тогда задние лошади вплотную надвигаются мордами на задок, и Александров чувствует за собою совсем близкое, теплое, влажное дыхание и крепкий приятный запах лошади.

А потом опять широкая безымянная улица, и легкий лет саней, и ладный ритм лошадиных копыт: та-та-та-та – мерно выстукивает коренник, тра-та, тра-та, тра-та – скачут пристяжные. И все так необычайно в таинственном нездешнем городе. Вот под полотняным навесом, ярко освещенный висячим фонарем, стоит чернобородый, черноглазый, румяный, белозубый торговец около яблочного ларя. В прекрасные призмы уложены желтые, красные, белые, пунцовые, серые яблоки. Издали чувствуется в них аромат и ясно воображается на зубах их сладкая кислинка (если бы закусить кусочек поглубже). Вот выбежала из ворот, без шубки, в сером платочке на голове, в крахмальном передничке, быстроногая горничная: хотела перебежать через дорогу, испугалась тройки, повернулась к ней, ахнула и вдруг оказалась вся в свету: краснощекая, веселая, с блестящими синими глазами, сияющими озорной улыбкой. «Поберегитесь, красавица! Задавлю!» – воркующим голосом окликает ее Фотоген и, полуобернувшись назад, говорит:

– Ладные у нас бабочки на Москве живут. – И сейчас же окрикивает замешкавшегося возчика: – Заснул, гужеед!

И вот юнкера едут по очень широкой улице. Александрову почему-то вспоминается давнишняя родная Пенза. Направо и налево деревянные дома об одном, реже о двух окошках. Кое-где в окнах слабые цветные огоньки, что горят перед иконами. Лают собаки. Фотоген идет все тише и тише, отпрукивая тонким учтивым голосом лошадей.

Наконец останавливается у трактира. Там, сквозь запотевшие стекла, чувствуется яркое освещение, мелькают быстрые большие тени, больше ничего не видно. Слышны звуки гармонии и глухой, тяжелый топот.

Вторая тройка проезжает мимо. С нее слышится окрик:

– Чего стал, дядя Фотоген?

– Супонь, – сердито отвечает Фотоген.

А уж с третьей тройки доносится деловой бас:

– Знаем мы твою супонь...

Фотоген не спеша слезает с облучка, поддерживая, как шлейф, длинные полы армяка, и величественно передает вожжи Александрову.

– Подержи, барин. Мне тут нужно по одному делу.

Александров польщен и сразу становится важным. Но только – как груба и тяжела эта огромная путаница вожжей.

Юнкера ропщут:

– Да что же это, Фотоген Палыч? Мы так последние приедем. Срам какой!

– Не тревожьтесь, юнкarya, – спокойно говорит ямщик. – С Фотоген Павлычем едете!

Он распахивает дверь и исчезает в облаках угарного пара, табачного дыма, крика и звона, которые стремительно вылетают из трактира и мгновенно уносятся вверх.

– Вот тебе и Фотоген! – уныло говорит Жданов.

Но ямщик не заставляет долго себя ждать. Через две минуты дверь кабака распахивается и в белых облаках, упруго взвивающихся вверх, показывается Фотоген Павлыч, почтительно провожаемый хромоногим половым в белой рубахе и в белых штанах.

– Счастливого вам пути, Фотоген Павлович, – учтиво говорит половой.

Фотоген берет вожжи из рук Александра.

– Спасибо тебе, барин, – говорит он, влезая на козлы и что-то дожевывая. – А вы, господа юнкера, не сомневайтесь. Только предупреждаю: держитесь крепко, чтобы вы не рассыпались, как картофель.

Он весел. На морозе необыкновенно вкусно пахнет от него винцом...

– Ведь какой расчет, – говорит он, разбирая вожжи и усаживаясь половчее, – они, видите, поехали прямой дорогой, только ухабистой, где коням настоящего хода нет. А у меня путь легкий, укатный. Мне лишние четь-версты – наплевать.

И вдруг дико вскрикивает:

– Ей вы, крылатые-я!

«Господи, – думает Александров, – почему и мне не побыть ямщиком. Ну, хоть не на всю жизнь, а так, года на два, на три. Изумительная жизнь!»

Дальше впечатления Александрова были восхитительны, но сумбурны, беспорядочны и туго припоминаемые. Остались у него в памяти: резкий ветер, стегавший лицо и пресекавший дыхание, стук снежных комьев о передок, медвежья перевалка коренника со вздыбленной, свирепой гривой и такая же, будто в такт ему, перевалка Фотогена на козлах. Как во сне, припоминал он потом, что ехали они не то лесом, не то парком. По обеим сторонам широкой дороги стояли густые, белые от снега деревья, которые то склонялись вершинами, когда тройка подъезжала к ним, то откидывались назад, когда она их промелькнула.

Помнилось ему еще, как на одном крутом повороте сани так накренились на правый бок, точно ехали на одном полозе, а потом так тяжко ухнули на оба полоза, перевалившись на другой бок, что все юнкера одновременно подскочили и крикнули. Не забыл Александров и того, как он в одну из секунд бешеной скачки взглянул на небо и увидел чистую, синевато-серебряную луну и подумал с сочувствием: «Как ей, должно быть, холодно и как скучно бродить там в высоте, точно она старая больная вдова; и такая одинокая».

На последнем повороте Фотоген нагнал своих. Впереди его была только вторая тройка. Он закричал, сам весь возбужденный веселым летом:

– Право держи, любезный!

– У, черт, дьявол, леший, – отозвался без злобы, скорее с восхищением, обгоняемый ямщик. – Куда прешь!

Но уже показался дом-дворец с огромными ярко сияющими окнами. Фотоген въехал сдержанной рысью в широкие старинные ворота и остановился у подъезда. В ту минуту, когда Рихтер передавал ему юнкерскую складчину, он спросил:

– Лихо ли, юнкера?

Они и слов не находили, чтобы выразить свое удовольствие. Правда, они уже искренне успели забыть о тех минутах, когда каждый из них невольно подумывал: «Потише бы немножко».

– Назад опять со мной поедете, – говорил Фотоген, отъезжая. – Только крикните меня по имени: Фотоген Павлыч.

Глава XVIII. Екатерининский зал

Ечкинские нарядные тройки одна за другою подкатывали к старинному строгому подъезду, ярко освещенному, огороженному полосатым тиковым шатром и устланному ковровой дорожкой. Над мокрыми серыми лошадьми клубился густой белый пахучий пар. Юнкера с трудом вылезали из громоздких саней. От мороза и от долгого сидения в неудобных положениях их ноги затекли, одеревенели и казались непослушными: трудно стало их передвигать.

Наружные массивные дубовые двери были распахнуты настежь. За ними, сквозь вторые стеклянные двери, сияли огни просторного высокого вестибюля, где на первом плане красовалась величественная фигура саженного швейцара, бывшего перновского

гренадерского фельдфебеля, знаменитого Порфирия.

Его ливрея до полу и пышная пелерина – обе из пламенно-алого тяжелого сукна – были обшиты по бортам золотыми галунами, застегнуты на золотые пуговицы и затканы рядами черных двуглавых орлов. Огромная треуголка с кокардою и белым плюмажем покрывала его голову в пудреном парике с белою косичкою. В руке швейцар держал на отлете тяжелую булаву с большим золоченым шаром, который высился над его головою. Его великолепный костюм, его рост и выправка, его черные, густые, толстые усы, закрученные вверх тугими кренделями, придавали его фигуре вид такой недоступной и суровой гордости, какой позавидовали бы многие министры...

Он широко распахнул половину стеклянной двери и торжественно стукнул древком булавы о каменный пол. Но при виде знакомой формы юнкеров его служебно серьезное лицо распустилось в самую добродушную улыбку.

По училищным преданиям, в неписаном списке юнкерских любимцев, среди таких лиц, как профессор Ключевский, доктор богословия Иванцов-Платонов, лектор и прекрасный чтец русских классиков Шереметевский, капельмейстер Крейнбринг, знаменитые фехтовальщики Пуарэ и Тарасов, знаменитый гимнаст и конькобежец Постников, танцмейстер Ермолов, баритон Хохлов, великая актриса Ермолова и немногие другие штатские лица, – был внесен также и швейцар Екатерининского института Порфирий. С незапамятных времен по праздникам и особо торжественным дням танцевали александровцы в институте, и в каждое воскресенье приходили многие из них с конфетами на официальный, церемонный прием к своим сестрам или кузинам, чтобы поболтать с ними полчаса под недреманным надзором педантичных и всевидящих классных дам. Кто знает, может быть, теперешнего швейцара звали вовсе не Порфирием, а просто Иваном или Трофимом, но так как екатерининские швейцары продолжали сотни лет носить одну и ту же ливрею, а юнкера старших поколений последовательно передавали младшим древнее, привычное имя Порфирия Первого, то и сделалось имя собственное Порфирий не именем, а как бы званием, чином или титулом, который покорно наследовали новые поколения екатерининских швейцаров.

Нынешний Порфирий был всегда приветлив, весел, учтив, расторопен и готов на услугу. С удовольствием любил он вспомнить о том, что в лагерях, на Ходынке, его Перновский полк стоял неподалеку от батальона Александровских юнкеров, и о том, как во время зори с церемонией взвивалась ракета и оркестры всех частей играли одновременно «Коль славен», а потом весь гарнизон пел «Отче наш».

Был, правда, у Порфирия один маленький недостаток: никак его нельзя было уговорить передать институтке хотя бы самую крошечную записочку, хотя бы даже и родной сестре. «Простите. Присяга-с, – говорил он с сожалением. – Хотя, извольте, я, пожалуй, и передам, но предварительно должен вручить ее на просмотр дежурной классной даме. Ну, как угодно. Все другое, что хотите: в лепешку для господ юнкеров расшибусь... а этого нельзя: закон».

Тем не менее у юнкеров издавна держалась привычка давать Порфирию хорошие чаевые.

– А! Господа юнкера! Дорогие гости! Милости просим! Пожалуйте, – веселым голосом приветствовал он их, заботливо прислоняя в угол свою великолепную булаву. – Без вас и бал открыть нельзя. Прошу, прошу...

Он был так мило любезен и так искренне рад, что со стороны, слыша его солидный голос, кто-нибудь мог подумать, что говорит не кто иной, как радушный, хлебосольный хозяин этого дома-дворца, построенного самим Растрелли в екатерининские времена.

– Шинели ваши и головные уборы, господа юнкера, я поберегу в особом уголку. Вот здесь ваши вешалки. Номерков не надо, – говорил Порфирий, помогая раздеваться. – Должно быть, озябли в дороге. Ишь как от вас морозом так крепко пахнет. Точно астраханский арбуз взрезали. Щетка не нужна ли, почиститься? И, покорно прошу, господа, если понадобится курить или для туалета, извольте спуститься вниз в мою каморку. Одеколон найдется для освежения, фабрики Брокара. Милости прошу.

Юнкера толпились между двумя громадными, во всю стену, зеркалами, расположенными прямо одно против другого. Они обдергивали друг другу складки мундиров сзади, приводили карманными щетками в порядок свои проборы или вздыбливали вверх прически бобриком; одни, послунив пальцы, подкручивали молодые, едва обрисовавшиеся усики, другие пощипывали еще несуществующие. «Счастливец Бутынский! у него рыжие усы, большие, как у двадцатипятилетнего поручика».

Во взаимно отражающих зеркалах, в их бесконечно отражающих коридорах, казалось, шевелился и двигался целый полк юнкеров.

Высокий фатоватый юнкер первой роты, красавец Бауман, громко говорил:

– Господа, не забудьте: когда войдем в залу, то директрисе и почетным гостям придворный поклон, как учил танцмейстер. Но после поклона постарайтесь отступить назад или отойти боком, отнюдь не показывая спины.

Нетерпеливый, бойкий на слово Карганов ответил ему задорно:

– Спасибо, добрый наставник. Кстати, будьте любезны сообщить нам, можно ли во время придворного поклона сморкаться или чесать поясицу?

– И не остроумно и пош-шло, – презрительно отозвался Бауман.

Сверху послышались нежные звуки струнного оркестра, заигравшего веселый марш. Юнкера сразу заволновались. «Господа, пора, пойдем, начинается. Пойдемте».

Они пошли тесной кучкой по лестнице, внизу которой уже стоял исполинский швейцар, успевший вооружиться своей страшной булавою и вновь надеть на свое лицо выражение горделивой строгости. Молодецки отчетливо, как и полагается перновскому гренадеру, он отдал юнкерам честь по-ефрейторски, в два приема.

Надо сказать, что с этим ежегодным выражением юнкерам своего почета перновец кривил против устава: юнкера по службе числились всего рядовыми, а Порфирий был фельдфебелем.

Мраморная прекрасная лестница была необычайно широка и приятно полого. Ее сквозные резные перила, ее свободные пролеты, чистота и воздушность ее каменных линий создавали впечатление прелестной легкости и грации. Ноги юнкеров, успевшие отойти, с удовольствием ощущали легкую, податливую упругость толстых красных ковров, а щеки, уши и глаза у них еще горели после мороза. Пахло слегка каким-то ароматическим курением: не монашкою и не этими желтыми, глянцевыми квадратными бумажками, а чем-то совсем незнакомым и удивительно радостным.

Вверху, на просторной площадке, их дожидались две дежурные воспитанницы, почти взрослые девушки.

Обе они были одеты одинаково в легкие парадные платья темно-вишневого цвета, снизу доходившие до щиколоток. Бальное большое декольте оставляло открытыми спереди шею и верхнюю часть груди, а сзади весь затылок и начало спины, позволяя видеть чистую линию нежных полудетских плеч. Руки, выступавшие из коротеньких матово-белых рукавчиков, были совсем обнажены. И никаких украшений – ни сережек, ни колец, ни брошек, ни браслетов, ни кружев. Только лайковые перчатки до пол-локтя да скромный веер подчеркивали юную блистательную красоту.

Девицы одновременно сделали юнкерам легкие реверансы, и одна из них сказала:

– Позвольте вас проводить, *messieurs*, в актовый зал. Следуйте, пожалуйста, за нами.

Это было только милое внимание гостеприимства. Певучие звуки скрипок и виолончелей отлично указывали дорогу без всякой помощи.

По обеим сторонам широкого коридора были двери с матовыми стеклами и сбоку овальные дощечки с золотой надписью, означавшей класс и отделение.

У Александрова сестра воспитывалась в Николаевском институте, и по высоким номерам классов он сразу догадался, что здесь учатся совсем еще девчонки. У кадет было наоборот.

Но вот и зала. Прекрасные проводницы с новым реверансом исчезают. Юнкера теперь представлены собственной распорядительности, и, надо сказать, некоторыми из них

внезапно овладевает робость.

Зала очаровывает Александрова размерами, но еще больше красотой и пропорциональностью линий. Нижние окна, затянутые красными штофными портьерами, прямоугольны и поразительно высоки, верхние гораздо меньше и имеют форму полулуния. Очень просто, но как изящно. Должно быть, здесь строго продуманы все размеры, расстояния и кривизны. «Как многого я не знаю», – думает Александров.

Вдоль стен по обеим сторонам залы идут мраморные колонны, увенчанные завитыми капителями. Первая пара колонн служит прекрасным основанием для площадки с перилами. Это хоры, где теперь расположился известнейший в Москве балльный оркестр Рябова: черные фраки, белые пластроны, огромные пушистые шевелюры. Дружно ходят вверх и вниз смычки. Оттуда бегут, смеясь, звуки резвого, возбуждающего марша.

Большая бронзовая люстра спускается с потолка, сотни ее хрустальных призмочек слегка дрожат и волшебным образом переливаются, брызжа синими, зелеными, голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми – колдовскими лучами. На каждой колонне горят в пятилапых подсвечниках белые толстые свечи: их огонь дает всей зале теплый розово-желтоватый оттенок. И все это – люстра, колонны, пятилапые бра и освещенные хоры – отражается световыми, масляно-волнующими полосами в паркете медового цвета, гладком, скользком и блестящем, как лед превосходного катка.

Между колоннами и стеной, с той и другой стороны, оставлены довольно широкие проходы, пол которых возвышается над паркетом на две ступени. Здесь расставлены стулья. Сидя в этих галереях, очень удобно отдыхать и любоваться танцами, не мешая танцующим. Здесь, в правой галерее, при входе, стеснились юнкера. Кроме них, есть и другие кавалеры, но немного: десять-двенадцать катковских лицеистов с необыкновенно высокими, до ушей, красными воротниками, трое студентов в шикарных тесных темно-зеленых длиннополых сюртуках на белой подкладке, с двумя рядами золотых пуговиц. Какие-то штатские, бледные, тонкие мальчуганы во фраках, и один заезжий из Петербурга, «блестящий» белобрысый, пресыщенный жизнью паж, сразу ревниво возненавиденный всеми юнкерами.

Глава XIX. Стрела

На другом конце залы, под хорами, в бархатных красных золоченых креслах сидели почетные гости, а посредине их сама директриса, величественная седовласая дама в шелковом серо-жемчужном платье. Гости были пожилые и очень важные, в золотом шитье, с красными и голубыми лентами через плечо, с орденами, с золотыми лампасами на белых панталонах. Рядом с начальницей стоял, слегка опираясь на спинку ее кресла, совсем маленький, старенький лысый гусарский генерал в черном мундире с серебряными шнурами, в красно-коричневых рейтузах, туго обтягивавших его подгибающиеся тощие ножки. Его Александров знал: это был почетный опекун московских институтов, граф Олсуфьев. Наклонясь слегка к директрисе, он что-то говорил ей с большим оживлением, а она слегка улыбалась и с веселым укором покачивала головою.

– Ах ты, старый проказник, – дружелюбно сказал Жданов, тоже глядевший на графа.

Позади и по бокам этой начальственной подковы группами и поодиночке, в зале и по галерее, все в одинаковых темно-красных платьях, все одинаково декольтированные, все издали похожие друг на дружку и все загадочно прекрасные, стояли воспитанницы.

Не прошло и полминуты, как зоркие глаза Александрова успели схватить все эти впечатления и закрепить их в памяти. Уже юнкера первой роты с Бауманом впереди спустились со ступенек и шли по блестящему паркету длинной залы, невольно подчиняясь темпу увлекательного марша.

– Посмотрите, господа! – воскликнул Карганов, показывая на Баумана. – Посмотрите на этого великосветского человека. Во-первых, он идет слишком медленными шагами. Спрашивается, когда же он дойдет?

– Правда, – подтвердил Жданов. – И остальные, как индюки, топчутся на месте.

– Во-вторых, от важности он закинул голову к небу, точно рассматривает потолок. Он выпятил грудь, а зад совсем отставил. Величественно, но противно.

Подвижной Жданов вдруг спохватился.

– Господа, здесь не строй и не ученье, а бал. Пойдемте, не станем дожидаться очереди. Айда!

Только спустившись в залу, Александров понял, почему Бауман делал такие маленькие шажки: безукоризненно и отлично натертый паркет был скользок, как лучший зеркальный каток. Ноги на нем стремились разъехаться врозь, как при первых попытках кататься на коньках; поневоле при каждом шаге приходилось бояться потерять равновесие, и потому страшно было решиться поднять ногу.

«А что, если попробовать скользить?» – подумал Александров. Вышло гораздо лучше, а когда он попробовал держать ступни не прямо, а с носками, развороченными наружу, по-танцевальному, то нашлась и опора для каждого шага. И все стало просто и приятно. Поэтому, перегоня товарищей, он очутился непосредственно за юнкерами первой роты и остановился на несколько секунд, не желая с ними смешиваться. И все-таки было жутко и мешкотно двигаться и стоять, чувствуя на себе глаза множества наблюдательных и, конечно, хорошеньких девушек.

Юнкера первой роты кланялись и отходили. Александров видел, как на их низкие и – почему не сказать правду? – довольно грамотные поклоны медленно, с важной и светлой улыбкой склоняла свою властную матово-белую голову директриса.

Отошел, пятясь спиной, последний юнкер первой роты. Александров – один. «Господи, помоги!» Но внезапно в памяти его всплывает круглая ловкая фигура училищного танцмейстера Петра Алексеевича Ермолова, вместе с его изящным поклоном и словесным уроком: «Руки свободно, без малейшего напряжения, опущены вниз и слегка, совсем чуточку, округлены. Ноги в третьей позиции. Одновременно, помните: одновременно – в этом тайна поклона и его красота – одновременно и медленно – сгибается спина и склоняется голова. Так же вместе и так же плавно, только чуть-чуть быстрее, вы выпрямляетесь и подымаете голову, а затем отступаете или делаете шаг вбок, судя по обстоятельствам».

Счастье Александрова, что он очень недурной имитатор. Он заставляет себя вообразить, что это вовсе не он, а милый, круглый, старый Ермолов скользит спокойными, уверенными, легкими шагами. Вот Петр Алексеевич в пяти шагах от начальницы остановил левую ногу, правой прочертил по паркету легкий полукруг и, поставив ноги точно в третью позицию, делает полный почтения и достоинства поклон.

Выпрямляясь, Александров с удовольствием почувствовал, что у него «вытанцевалось». Медленно, с чудесным выражением доброты и величия директриса слегка опустила и подняла свою серебряную голову, озарив юнкера прелестной улыбкой. «А ведь она красавица, хотя и седые волосы. А какой живой цвет лица, какие глаза, какой царственный взгляд. Сама Екатерина Великая!»

Стоявший за ее креслом маленький старенький граф Олсуфьев тоже ответил на поклон юнкера коротеньким веселым кивком, точно по-товарищески подмигнул о чем-то ему. Слегка шевельнули подбородками расшитые золотом старички. Александров был счастлив.

После поклона ему удалось ловкими маневрами обойти свиту, окружавшую начальницу. Он уже почувствовал себя в свободном пространстве и заторопился было к ближнему концу спасительной галереи, но вдруг остановился на разбеге: весь промежуток между двумя первыми колоннами и нижняя ступенька были тесно заняты темно-вишневыми платьями, голыми худенькими ручками и милыми, светло улыбающимися лицами.

– Вы хотите пройти, господин юнкер? – услышал он над собою голос необыкновенной звучности и красоты, подобный альту в самом лучшем ангельском хоре на небе.

Он поднял глаза, и вдруг с ним произошло изумительное чудо. Точно случайно, как будто блеснула близкая молния, и в мгновенном ослепительном свете ярко обрисовалось из всех лиц одно, только одно прекрасное лицо. Четкость его была сверхъестественна. Показалось Александрову, что он знал эту чудесную девушку давным-давно, может быть,

тысячу лет назад, и теперь сразу вновь узнал ее всю и навсегда, и хотя бы прошли еще миллионы лет, он никогда не позабудет этой грациозной, воздушной фигуры со слегка склоненной головой, этого неповторяющегося, единственного «своего» лица с нежным и умным лбом под темными каштаново-рыжими волосами, заплетенными в корону, этих больших внимательных серых глаз, у которых раек был в тончайшем мраморном узоры, и вокруг синих зрачков играли крошечные золотые кристаллики, и этой чуть заметной ласковой улыбки на необыкновенных губах, такой совершенной формы, какую Александров видел только в корпусе, в рисовальном классе, когда, по указанию старого Шмелькова, он срисовывал с гипсового бюста одну из Венер.

Тот же магический голос, совсем не останавливаясь, продолжал:

– Дайте, пожалуйста, дорогу господину юнкеру.

Александров поднялся по ступенькам, кланяясь в обе стороны, краснея, бормоча слова извинения и благодарности. Одна из воспитанниц пододвинула ему венский стул.

– Может быть, присядете?

Он низко признательно поклонился, но остался стоять, держась за спинку стула.

Если бы мог когда-нибудь юнкер Александров представить себе, какие водопады чувств, ураганы желаний и лавины образов проносятся иногда в голове человека за одну малюсенькую долю секунды, он проникся бы священным трепетом перед емкостью, гибкостью и быстротой человеческого ума. Но это самое волшебство с ним сейчас и происходило.

«Неужели я полюбил? – спросил он у самого себя и внимательно, даже со страхом, как бы прислушался к внутреннему самому себе, к своим: телу, крови и разуму, и решил твердо: – Да, я полюбил, и это уже навсегда».

Какой-то подпольный ядовитый голос в нем же самом сказал с холодной насмешкой: «Любви мгновенной, любви с первого взгляда – не бывает нигде, даже в романах».

«Но что же мне делать? Я, вероятно, урод», – подумал с покорной грустью Александров и вздохнул.

«Да и какая любовь в твои годы? – продолжал ехидный голос. – Сколько сот раз вы уже влюблялись, господин Сердечкин? О, Дон-Жуан! О, злостный и коварный изменник!»

Послушная память тотчас же вызвала к жизни все увлечения и «предметы» Александрова. Все эти бывшие дамы его сердца пронеслись перед ним с такой быстротой, как будто они выглядывали из окон летящего на всех парах курьерского поезда, а он стоял на платформе Петровско-Разумовского полустанка, как иногда прошлым летом по вечерам.

...Наташа Манухина в котиковой шубке, с родинкой под глазом, розовая Нина Шпаковская с большими густыми белыми ресницами, похожими на крылья бабочки-капустницы, Машенька Полубояринова за пианино, в задумчивой полутьме, быстроглазая, быстроногая болтуня Зоя Синицына и Сонечка Владимирова, в которую он столько же раз влюблялся, сколько и разлюблял ее; и трое пышных высоких, со сладкими глазами сестер Синельниковых, с которыми, слава богу, все кончено; хоть и трагично, но навсегда. И другие, и другие, и другие... сотни других... Дольше других задержалась в его глазах маленькая, чуть косенькая – это очень шло к ней – Геня, Генриетта Хржановская. Шесть лет было Александрову, когда он в нее влюбился. Он храбро защищал ее от мальчишек, сам надевал ей на ноги ботинки, когда она уходила с нянькой от Александровых, и однажды подарил ей восковую желтую канарейку в жестяной сквозной, кружками, клетке.

Но унеслись эти образы, растаяли, и ничего от них не осталось. Только чуть-чуть стало жалко маленькую Геню, как, впрочем, и всегда при воспоминании о ней.

«О нет. Все это была не любовь, так, забава, игра, пустяки, вроде – и то правда – игры в фанты или почту. Смешное передразнивание взрослых по прочитанным романам. Мимо! Мимо! Прощайте, детские шалости и дурачества!»

Но теперь он любит. Любит! – какое громадное, гордое, страшное, сладостное слово. Вот вся вселенная, как бесконечно большой глобус, и от него отрезан крошечный сегмент, ну, с дом величиной. Этот жалкий отрезок и есть прежняя жизнь Александрова,

неинтересная и тупая. «Но теперь начинается новая жизнь в бесконечности времени и пространства, вся наполненная славой, блеском, властью, подвигами, и все это вместе с моей горячей любовью я кладу к твоим ногам, о возлюбленная, о царица души моей».

Мечтая так, он глядел на каштановые волосы, косы которых были заплетены в корону. Повинуясь этому взгляду, она повернула голову назад. Какой божественно прекрасной показалась Александрову при этом повороте чудесная линия, идущая от уха вдоль длинной гибкой шеи и плавно переходящая в плечо. «В мире есть точные законы красоты!» – с восторгом подумал Александров.

Улыбнувшись, она отвернулась. А юнкер прошептал:

– Твой навек.

Но уже кончили гости представляться хозяйке. Директриса сказала что-то графу Олсуфьеву, нагнувшемуся к ней.

Он кивнул головой, выпрямился и сделал рукой призывающий жест.

Точно из-под земли вырос тонкий, длинный офицер с аксельбантами. Склонившись с преувеличенной почтительностью, он выслушал приказание, потом выпрямился, отошел на несколько шагов в глубину залы и знаком приказал музыкантам замолчать.

Рябов, доведя колено до конца, прекратил марш.

– Полонез! – закричал адъютант веселым высоким голосом.

– Кавалеры, приглашайте ваших дам!

Глава XX. Полонез

– Полонез, господа, приглашайте ваших дам, – высоким тенором восклицал длинный гибкий адъютант, быстро скользя по паркету и нежно позванивая шпорами. – Полонез! Дамы и господа, потрудитесь становиться парами.

Александров спустился по ступеням и стал между колоннами. Теперь его красавица с каштаново-золотистой короной волос стояла выше его и, слегка опустив голову и ресницы, глядела на него с легкой улыбкой, точно ожидая его приглашения.

– Позвольте просить вас на полонез, – сказал юнкер с поклоном.

Ее улыбка стала еще милее.

– Благодарю, с удовольствием.

Она сверху вниз протянула ему маленькую ручку, туго обтянутую тонкой лайковой перчаткой, и сошла на паркет зала со свободной грацией. «Точно принцесса крови», – подумал Александров, только недавно прочитавший «Королеву Марго». Под руку они подошли к строящемуся полонезу и заняли очередь. За ними поспешно устанавливались другие пары.

– Я видела, как вы делали реверанс нашей славной маман, – сказала девушка. – У вас вышло очень изящно. Я сама знаю, как это трудно, когда ты одна, а на тебя со всех сторон смотрят.

– А в особенности насмешливые глаза хороших барышень, – подхватил Александров.

– Признайтесь, вы сильно волновались?

– Скажу вам по секрету – ужасно! Руки, ноги точно связаны, и одна только мысль: не убежать ли, пока не поздно. Но я перехитрил самого себя, я вообразил, что я – это не я, а наш танцмейстер Петр Алексеевич Ермолов. И тогда стало вдруг удобно.

Она весело засмеялась.

– И у нас тоже Ермолов. Он, кажется, везде. Но как я вас хорошо понимаю. Я тоже умею так передразнивать. Я иногда пригляжусь внимательно к чьей-нибудь походке: подруги, или классной дамы, или учителя, и постараюсь пройтись совсем-совсем точно они. И тогда мне вдруг кажется, что я как будто стала не собой, а этим человеком. Точно я за него и вижу, и слышу, и думаю, и чувствую. И характер его для меня весь открыт... Но посмотрите, посмотрите вперед. – Она слегка пожала пальчиками его согнутую руку. –

Видите, кто в первой паре?

В головной паре стояли, ожидая начала танца, директриса и граф Олсуфьев в темно-зеленом мундире (теперь на близком расстоянии Александров лучше различил цвета) и малиновых рейтузах. Стоя, начальница была еще выше, полнее и величественнее. Ее кавалер не достигал ей головой до плеча. Его худенькая фигура с заметно согбенной спиной, с осевшими тонкими ножками казалась еще более жалкой рядом с его чересчур представительной парой, похожей на столичный монумент.

– Боюсь, смешной у них выйдет полонез, – сказал с непритворным сожалением Александров.

– Ну вот, уж непременно и смешной, – заступилась его прекрасная дама. – Это ведь всегда так трогательно видеть, когда старики открывают бал. Гораздо смешнее видеть молодых людей, плохо танцующих.

Высокий адъютант закинул назад голову, поднял руку вверх к музыкантам и нараспев прокричал:

– Прощу! По-ло-нез!

Дама юнкера Александрова немного отодвинулась от него; протянула ему на уровне своего плеча красиво изогнутую, обнаженную и еще полудетскую руку. Он с легким склонением головы принял ее, едва касаясь пальцами кончиков ее тоненьких пальцев.

Сверху, с хор, раздались вдруг громкие, торжественные и весело-гордые звуки польского вальса. Жестковатый холодок побежал по волосам и по спине Александрова.

– Это – Глинка, – сказал шепотом Александров.

– Да, – ответила она так же тихо. – Из «Жизни за царя». Превосходно, я обожаю эту оперу.

Александров, не перестававший глядеть вперед, туда, где полукругом загибала вереница полонеза, вдруг пришел в волнение и едва-едва не обмолвился, по дурной школьной привычке, черным словом.

– Ч... – но он быстро сдержался на разлете. – Нет, вы полюбуйтесь, полюбуйтесь только, граф-то ваш и начальница. Охотно беру свои слова обратно.

И в самом деле, стоило полюбоваться этой парой. Выждав четыре первых такта, они начали полонез с тонкой ритмичностью, с большим достоинством и с милой старинной грацией. Совсем ничего не было в них ни смешного, ни причудливого. Директриса несла свое большое полное тело с необыкновенной легкостью, с пленительно-изящной простотой, точно коронованная особа, ласковая хозяйка пышного дворца, окруженная юными прелестными фрейлинами. Все ее движения были уверенны и женственны: наклоняла ли она голову к своему кавалеру, или делала направо и налево, светло улыбаясь, тихие приветливые поклоны.

И граф Олсуфьев вовсе уже не был стар и хил. Бодрая героическая музыка выправила его спину и сделала гибкими и послушными его ноги. Да! теперь он был лихой гусар прежних золотых, легендарных времен, гусар-дуэлист и кутила, дважды разжалованный в солдаты за дела чести, коренной гусар, приятель Бурцева или Дениса Давыдова.

Недели прошли в тяжелом походе и в дьявольских атаках, и вот вдруг бал в Вильно, по случаю приезда государя. Только что слезши с коня, едва успев переодеться и надуться, он уже готов танцевать всю ночь напролет, хотя весь и разбит долгой верховой ездой. Как великолепны взоры, которые Олсуфьев бросает на свою очаровательную даму!.. Тут и гусарская неотразимая победоносность, и рыцарское преклонение перед женщиной, для которой он готов на любую глупость, вплоть до смерти, и игривое лукавство, и каскады преувеличенных комплиментов, и жестокая гибель всем его соперникам, и легкомысленное обещание любви до гробовой доски или по крайней мере на сутки.

– Как они оба хороши, – говорит восхищенно Александров, – не правда ли, это какое-то чудо?

– Ну, что же, я очень рада, что вы сначала ошиблись.

В это время музыка как раз возвращается к первым тактам полонеза. Александров знает

твердо слова, которые здесь поет хор, которые и он сам когда-то пел. Слегка наклонившись к красавице, он – правда, не поет, – но выговаривает речитативом:

Вчера был бой,
Сегодня бал,
Быть может, завтра снова в бой.

Вот оно, беззаботное веселье между двумя смертями.

– Нам начинать, – говорит его дама. Они выжидают, когда предыдущая пара не отойдет на несколько шагов, и тогда одновременно начинают этот волшебный старинный танец, чувствуя теперь, что каждый шаг, каждое движение, каждый поворот головы, каждая мысль связана у них одними и теми же невидимыми нитями.

– Ах, как я счастлив, что попал к вам сегодня, – говорил Александров, не переставая строго следить за ритмом полонеза. – Как я рад. И подумать только, что из-за пустяка, по маленькой случайности, я мог бы этой радости лишиться и никогда ее не узнать.

– Может быть, вам это только так кажется? Какая случайность?

– Я вам скажу откровенно. Сегодня я поехал на бал не по своей воле, а по распоряжению начальства.

– Ах, бедный, как я вас жалею!

– Ну да, по наряду. Я стал отговариваться. Я выдумывал всякие предлоги, чтобы не поехать, но ничего не помогло.

– Ах, несчастный, несчастный.

– Потому что я еще третьего дня обещал знакомым барышням, что поеду с ними на елку в Благородное собрание.

– Воображаю, как они теперь на вас сердятся. Вы низко упали в их глазах. Такие измены никогда не прощаются. И воображаю, как вы должны скучать с нами, невольными виновницами вашей ужасной гибели.

– О нет, нет, нет! Я благословляю судьбу и настойчивость моего ротного командира. Никогда в жизни я не был и не буду до такой степени на вершине блаженства, как сию минуту, как сейчас, когда я иду в полонезе рука об руку с вами, слышу эту прелестную музыку и чувствую...

– Нет, нет, – смеясь, перебивает его она. – Только, пожалуйста, не о чувствах. Это запрещено.

– О чувствах, приходящих мгновенно и сразу... овладева...

– Тем более, тем более. Танцуйте старательнее и не болтайте пустяков.

Она обмахивается веером. Она – девочка – кокетничает с юнкером совсем как взрослая записная львица. Серьезные, почти строгие гримаски она переплетает улыбками, и каждая из них по-разному выразительна. Ее верхняя губа вырезана в чудесной форме туго натянутого лука, и там, где этот рисунок кончается с обеих сторон у щек, там чуть заметные ямочки.

«Точно природа закончила изящный, неповторимый чертеж и поставила точки в знак того, что труд ее – совершенство».

Так думает Александров, но полонез уже кончается. Александров доводит под руку свою даму до указанного ею места и низко ей кланяется.

– Могу ли я просить вас на вальс?

– Хорошо.

– И на первую кадрили.

– По-вашему, это не слишком много?

– И еще на третью.

– Нет, это невозможно.

Но она благодарит улыбкой.

Глава XXI. Вальс

Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством раздаются первые звуки штраусовского вальса. Какой колдун этот Рябов. Он делает со своим оркестром такие чудеса, что невольно кажется, будто все шестнадцать музыкантов – члены его собственного тела, как, например, пальцы, глаза или уши.

Еще находясь под впечатлением пышного полонеза, Александров приглашает свою даму церемонным, изысканным поклоном. Она встает. Легко и доверчиво ее левая рука ложится, чуть прикасаясь, на его плечо, а он обнимает ее тонкую, послушную талию.

– В три темпа или в два? – спрашивает Александров.

– Если хотите, то в три, а уж потом в два.

В этот момент она, сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом. Это почти бессознательное движение полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывал, когда его чувств касается что-нибудь истинно прекрасное: вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резеды, ландыша и фиалки, музыка Шопена, созерцание скромной, как бы не сознающей самое себя женской красоты, ощущение в своей руке детской, копошащейся и такой хрупкой ручонки.

В этой странной грусти нет даже и намека на мысль о неизбежной смерти всего живущего. Такого порядка мысли еще далеки от юнкера. Они придут гораздо позже, вместе с внезапным ужасающим открытием того, что «ведь и я, я сам, я, милый, добрый Александров, непременно должен буду когда-нибудь умереть, подчиняясь общему закону».

О, какая гадкая и несправедливая жестокость! Такой зловещий страх он испытывал однажды ночью во время случайной бессонницы, и этот страх его уже никогда больше не покидает. Нет. Эта грустная мгновенная тревога – другого свойства. Ее объяснить ни себе, ни другому Александров никогда не сумел бы. Она скорее всего похожа на сожаление, что этот, вот этот самый момент уйдет назад и уже ни за что его не вернешь, не догонишь. Жизнь безмерна, богата. Будет другое, может быть, очень похожее, может, почти такое же, но эта секунда уплыла навсегда...

Должно быть, Александров инстинктивно так влюблен в земную заманчивую красоту, что готов боготворить каждый ее осколочек, каждую пылинку... Сам этого не понимая, он похож на скупого и жадного миллионера, который никому не позволяет прикоснуться к своему золоту, ибо к чужой руке могут пристать микроскопические частички обожаемого металла.

Александров не только очень любил танцевать, но он также и умел танцевать; об этом, во-первых, он знал сам, во-вторых, ему говорили товарищи, мнения которых всегда столь же резки, сколь и правдивы; наконец, и сам Петр Алексеевич Ермолов на ежесубботних уроках нередко, хотя и сдержанно, одобрял его: «Недурно, господин юнкер, так, господин юнкер». В каждый отпуск по четвергам и с субботы до воскресенья (если только за единицу по фортификации Дрозд не оставлял его в училище) он плясал до изнеможения, до упаду в знакомых домах, на вечеринках или просто так, без всякого повода, как тогда неистово танцевала вся Москва. Но и оставаясь у себя дома, он всегда имел пару в лице старшей сестры Зины, такой же страстной танцовки, причем музыку он изображал голосом. Сестра танцевала прекрасно, но всегда оставалась недовольна.

– Ты очень ловкий кавалер, Алеша, – говорила она, – но, понимаешь, ты все-таки брат, а не мужчина. С тобою я, как в институте, шерочка с машерочкой. Или точно играешь на немом пианино.

Он ей отвечал не менее любезно:

– А я тебя обнимаю точно куклу из папье-маше. Мне кажется, ты хоть и танцуешь превосходно, но сама неодушевленная.

Однако никогда еще в жизни не случилось Александрову танцевать с такой ловкостью и с таким наслаждением, как теперь. Он почти не чувствовал ни веса, ни тела своей дамы. Их

движения дошли до той полной согласованности и так слились с музыкой, что казалось, будто у них – одна воля, одно дыхание, одно биение сердца. Их быстрые ноги касались скользкого паркета лишь самыми кончиками «цыпочек». И оттого было в их танце чувство стремления ввысь, чудесное ощущение воздушного полета во вращательном движении, блаженная легкость, почти невесомость.

Подымались и опускались, вздрагивая, огни множества свечей. Веял легкий теплый ветер от раздувавшихся одежд, из-под которых показывались на секунду стройные ноги в белых чулках и в крошечных черных туфельках или быстро мелькали белые кружева нижних юбок. Слегка нежно звенели шпоры и пестрыми, разноцветными, глянцевыми реющими красками отражали бал в сияющем полу. А сверху лился из рук веселых волшебников, как ритмическое очарование, упоительный вальс. Казалось, что кто-то там, на хорах, в ослепительном свете огней жонглировал бесчисленным множеством брильянтов и расстилал широкие полосы голубого бархата, на который сыпались сверху золотые блески.

И какие-то сладко опьяняющие голоса пели о том, что этому томному танцу – танцу-полету – не будет конца.

Не глядя, видел, нет, скорее, чувствовал, Александров, как часто и упруго дышит грудь его дамы в том месте, над вырезом декольте, где легла на розовом теле нежная тень ложбинки. Заметил он тоже, что, танцуя, она медленно поворачивает шею то налево, то направо, слегка склоняя голову к плечу. Это ей придавало несколько утомленный вид, но было очень изящно. Не устала ли она?

И точно отвечая на его безмолвный вопрос – это было так естественно и понятно в этот необыкновенный вечер, – она сказала:

– Это я нарочно так делаю. Чтобы не кружилась голова.

Случалось так, что иногда ее прическа почти касалась его лица; иногда же он видел ее стройный затылок с тонкими, вьющимися волосами, в которых, точно в паутине, ходили спиралеобразно сияющие золотые лучи. Ему показалось, что ее шея пахнет цветом бузины, тем прелестным ее запахом, который так мил не вблизи, а издали.

– Какие у вас славные духи, – сказал Александров. Она чуть-чуть обернула к нему смеющееся, покрасневшее от танца лицо.

– О нет. Никто из нас не душится, у нас даже нет душистых мыл.

– Не позволяют?

– Совсем не потому. Просто у нас не принято. Считается очень дурным тоном. Наша татап как-то сказала: «Чем крепче барышня надушена, тем она хуже пахнет».

Но странная власть ароматов! От нее Александров никогда не мог избавиться. Вот и теперь: его дама говорила так близко от него, что он чувствовал ее дыхание на своих губах. И это дыхание... Да... Положительно оно пахло так, как будто бы девушка только что жевала лепестки розы. Но по этому поводу он ничего не решился сказать и сам почувствовал, что хорошо сделал. Он только сказал:

– Я не могу выразить словами, как мне приятно танцевать с вами. Так и хочется, чтобы во веки веков не прекращался этот бал.

– Благодарю вас. С вами тоже очень удобно танцевать. Но вечность! Не слишком ли это много. Пожалуй, устанем. А потом надоест... соскучимся...

Но тут случилось маленькое приключение. Уже давно сквозь вихрь и мелькание вальса успел Александров приметить одного катковского лицеиста. Этот высокий и худой, несколько сутуловатый малый вальсировал какими-то резкими рывками, а левую руку, вместе с рукою своей дамы, он держал прямо вытянутою вперед, точно длинное дышло. Все это вместе было не так смешно, как некрасиво. Теперь он неуклюже вертелся вблизи Александрова и его дамы, подходя все ближе и ближе, уже совсем готовый наехать на них. Желая выйти из его орбиты, Александров стал осторожно обходить его слева, выпустив руку своей дамы и слегка приподняв левую руку во избежание толчка. Но в эту секунду лицеист, совершенно не умевший лавировать, ринулся на них со своим двуконным дышлом. Александров успел отвести удар и предупредить столкновение, но при этом, не теряя

равновесия, сильно пошатнулся. Невольно лицо его уткнулось в плечо девушки, и он губами, носом и подбородком почувствовал прикосновение к нежному, горячему, чуть-чуть влажному плечу, пахнувшему так странно цветущей бузиной. Нет, он вовсе не поцеловал ее. Это неправда. Или нечаянно поцеловал? Во весь этот вечер и много дней спустя, а пожалуй, во всю свою жизнь он спрашивал себя по чести и совести: да или нет? Но так никогда и не разрешил этого вопроса.

Он только извинился и увидел, как быстро побежала красная краска по щекам, по шее, по спине и даже по груди прекрасной девушки.

– Я, кажется, немного устала, – сказала она. – Мне хочется отдохнуть. Проводите меня.

Он довел ее до галереи между колоннами, усадил на стул, а сам стал сбоку, немного позади. Увидев его смущенное, несчастное лицо, она пожалела его и предложила ему сесть рядом.

Они разговорились понемногу. Она сказала ему свое имя – Зинаида Бельшева.

– Только мне оно не очень нравится. Отдельно Ида – это еще ничего, это что-то греческое, но Зинаида – как-то громоздко. Пирамида, кариатида, Атлантида...

– Очень красиво – Зина, – подсказал юнкер.

– Да, для мамы и папы, – схитрила она. – Но вы, может быть, не знаете, что есть мужское имя Зина?

– Признаться, не слышал.

– Да, да. Я уж не помню, у кого это, у Тургенева или у Толстого, есть какой-то мужик Зина. И кажется, не очень-то порядочный.

– А Зиночка?

– Это ничего еще. Так меня зовут родные. А младший брат – просто – Зинка-резинка.

– Я вас буду мысленно называть Зиной, – сболтнул юнкер.

– Не смейте. Я вам это не позволяю, – сказала она, непринужденно смеясь.

– Но кто же может знать и контролировать мысли? – возразил Александров, слегка наклоняясь к ней.

Она воскликнула с увлечением:

– Вы сами. Мало быть честным перед другими, надо быть честным перед самим собою. Ну вот, например: лежит на тарелке пирожное. Оно – чужое, но вам его захотелось съесть, и вы съели. Допустим, что никто в мире не узнал и никогда не узнает об этом. Так что же? Правы вы перед самим собою? Или нет?

Юнкер поклонился головою.

– Сдаюсь. Мудрость глаголет вашими устами. Позвольте спросить: вы, должно быть, много читали?

И тут девочка рассказала ему кое-что о себе. Она дочь профессора, который читает лекции в университете, но, кроме того, дает в Екатерининском институте уроки естественной истории и имеет в нем казенную квартиру. Поэтому ее положение в институте особое. Живет она дома, а в институте только учится. Оттого она гораздо свободнее во времени, в чтении и в развлечениях, чем ее подруги...

– А теперь пойдемте еще потанцуем, – сказала она, вставая. – Только не в два па. Я теперь пригляделась и нахожу, что это только вертушка и притом очень некрасивая, и, пожалуйста, подальше от этого лицеиста. Он так неуклюж.

И она опять слегка покраснела.

Глава XXII. Ссора

Они танцуют третью кадрили. Их визави Жданов с прехорошенькой воспитанницей. Эта маленькая девушка, по виду почти девочка, кажется Александрову похожей на ожившую новую фарфоровую куклу. У нее пушистые волосы цвета кокосовых волокон, голубые глаза, блестящие, как эмаль; круглые румянцы на щеках, точно искусственно наведенные, и крошечный алый ротик – вишенка. Обо всех ее прелестях нельзя иначе говорить и думать,

как в уменьшительном виде. Она постоянно улыбается, сверкая беленькими остренькими зубками. Она веселится от всей души: вертится, оглядывается, трясет головою и светлыми кудряшками, ее ручки и ножки в беспрестанном нетерпеливом движении.

– Не правда ли, как мила? – вполголоса спрашивает Зиночка.

Александров наклоняется к ней.

– Просто прелесть, – говорит он. – Она, наверно, получила бы первый приз на выставке.

Зиночка смотрит на него с легким недоверием.

– На какой выставке? Я вас не поняла.

– На кукольном базаре. Знаете, это меня всегда удивляло: как только люди хотят сказать высшую похвалу красивой барышне, они непременно скажут: ну, точь-в-точь куколка. Я не поклонник такой красоты.

Зиночка сердится и как будто непритворно:

– Я не предполагала, что вы такой злой. Нина Забелло – это моя лучшая подруга, и у нас все ее любят. Она самая умная, самая добрая, самая веселая. А вы – Зоил.

«Зоил... вот так название. Кажется, откуда-то из хрестоматии? – Александрову давно знакомо это слово, но точный смысл его пропал. – Зола и ил... Что-то не особенно лестное. Не философ ли какой-нибудь греческий, со скверною репутацией женоненавистника?» Юнкер чувствует себя неловко.

– Тогда прошу простить, – смиренно говорит он. – Как приятно иметь такого верного друга, как вы. Я пошутил и, признаюсь, неловко. Теперь я вижу, что мадемуазель Забелло очаровательна.

Зиночка опускает длинные темные ресницы, прикрывая чуть заметную лукавую улыбку глаз.

– Вы правы, – говорит она с кротким вздохом. – Я бы очень хотела быть такой, как она.

Юнкер чувствует, что теперь наступил самый подходящий момент для комплимента, но он потерялся. Сказать бы: «О нет, вы гораздо красивее!» Выходит коротко и как-то плоско. «Ваша красота ни с чем и ни с кем не сравнима». Нехорошо, похоже на математику. «Вы прелестнее всех на свете». Это, конечно, будет правда, но как-то пахнет штабным писарем. Да уж теперь и поздно. Удобная секунда промелькнула и не вернется. «Ах, как досадно. Какой я тюлень!»

Но оркестр играет вторую ритурнель. Мотив ее давно знаком юнкеру. Это кадрили – попури из русских песен. Он знает наивные и смешные слова:

Нет, нет, нет,
Она меня не любит.
Нет, нет, нет,
Она меня погубит.

Замешательство Александра все растет. С незапамятных лет установилось неизбежное правило: во время кадрили и особенно в промежутках между фигурами кавалеру полагается во что бы то ни стало занимать свою даму быстрой, непрерывной, неиссякающей болтовней на всевозможные темы. Но Александров с удивлением и с тоскою замечает, что все его кадрилиные слова приклеились у него где-то в глубине гортани и никак не отклеиваются. Он уже во второй раз спросил Зиночку: «Нравится ли вам сегодняшний бал?» – и, спросив, покраснел от стыда, поперхнулся и совсем некстати перескочил на другой вопрос: «Любите ли вы кататься на коньках?» Зиночка вовсе не помогала ему, отвечая (нарочно сухо, как показалось юнкеру): да и нет.

Ах, как мучительно завидовал он в эти тяжелые минуты беззаботному и неугомонному, точно заводному, Жданову. Разговор у него бежал, как водопад, сверкал, как фейерверк, не останавливаясь ни на миг. Пошлет же судьба человеку такой замечательный талант! Прodelывая без увлечения, по давнишней привычке, разные шассе, круазе, шен и балянсе,

Александров все время ловил поневоле случайные отрывки из той чепухи, которую уверенной, громкой скороговоркой нес Жданов: о фатализме, о звездах, духах и духах, о Царь-пушке, о цыганке-гадалке, о липком пластыре, о канарейках, об антоновских яблоках, о лунатиках, о Наполеоне, о значении цветов и красок, о пострижении в монахи, об ангорских кошках, о переселении душ и так далее без начала, без конца и без всякой связи. Его дама, маленькая Ниночка Забелло, радостно хохотала, закидывая назад свою светло-серебристую кукольную головку и жмуря глаза. Александров окончательно падает духом. Ни одно легкое слово не идет на язык. Оркестр как нарочно поддразнивает его в пятой фигуре:

Нет, нет, нет,
Она меня не любит... —

и бедный юнкер с каждой минутой чувствует себя все более тяжелым, неуклюжим, некрасивым и робким. Классная дама, в темно-синем платье, со множеством перламутровых пуговиц на груди и с рыбьим холодным лицом, давно уже глядит на него издали тупым, ненавидящим взором мутных глаз. «Вот тоже: приехал на бал, а не умеет ни танцевать, ни занимать свою даму. А еще из славного Александровского училища. Постыдились бы, молодой человек!» Ужасно много времени длится эта злополучная кадрили. Наконец она кончена.

— Гран-рон! ⁶ — кричит адъютант, весело раскатываясь на рр...

Зиночка Бельшева от гран-рон отказывается.

— Я не люблю этой тесноты и толкотни, — говорит она.

Но Александрову и без лишних слов совершенно ясно, что вовсе не этот путаный, затейливый танец, а именно его, юнкера Александрова, не любит Зиночка.

Зиночка садится на стуле в галерее, за колоннами. Юнкер только что собирается со страхом и надеждой в душе присесть возле нее, как она тотчас же подымается.

— Простите. Меня зовет подруга.

И быстро мелькая черными туфельками и белыми чулочками, свободно и грациозно лавируя между танцующими, она торопливо перебегает на другую сторону зала.

«Все кончено», — говорит густым трагическим басом кто-то внутри Александрова.

Однако Зиночка побежала совсем не к подруге. Александров следил за нею. Она остановилась перед синей дамой с рыбьим лицом, выслушала, наклонив прелестную каштановую головку, несколько сказанных дамою слов и чинно села рядом с нею. «При чем же здесь подруга? — подумал огорченный юнкер. — Просто ей хочется отделаться от меня...»

Но нет. Вот она бросила на юнкера через всю залу быстрый, вовсе, казалось, не враждебный взгляд и тотчас же, точно испугавшись, отвела его и еще строже выпрямилась на стуле, чуть-чуть осторожно косясь на синюю классную даму. «Неужели это все — только коварная игра?»

Мрачный, ероша свою прическу бобриком, нервно пощипывая чуть пробивающийся пушок на верхней губе, дожидается Александров конца затянувшегося гран-рон и наконец дождался. Распорядитель объявляет польку-мазурку. «Еще попытка! Самая последняя, а там будь что будет. Ах, жаль, что нельзя, бросив бал, уехать прямо домой, на Пресню. Необходимо явиться в училище и там ночевать. А все этот упрямый Дрозд».

Под резвые, скачущие, лихие звуки польки-мазурки Александров поспешно пробирается к тому месту, где сидит Зиночка. Он уже близко от нее. Всего десять, пятнадцать шагов. Но откуда ни возьмись появляется перед нею, спиной к Александрову, усталый, пресыщенный паж. С какой небрежностью он наклонился, как снисходительно, нехотя, обнял ее грациозную тонкую талию. И он совсем нарочно не хочет делать па танца. Он лишь равнодушно и даже отчасти брезгливо шагает в такт. «Ого! Осмелился ли бы он

⁶ Большой круг! (от *фр.* grand rond).

так, спустя рукава, танцевать во дворце или в знатном петербургском доме? Для него здесь только Москва, жалкая провинция, а он, блестящий паж ее величества или высочества, будет потом с презрительной улыбкой говорить о московских смешных кузинах. Да. Охотно повстречался бы я с этим белобрысым, прилизанным фазаном где-нибудь с глазу на глаз, без посторонних свидетелей!» – думает Александров, изо всей силы напрягая мускулы крепкого тела.

Паж сделал круг и посадил Зиночку на ее место, чуть-чуть мотнув головой. Александров торопливо подбежал и старательно поклонился:

– Можно просить вас?

– Ах! Только не теперь... Я ужасно устала.

Александров медленно отступает к галерее. Там темнее и пусто. Оборачивается, и что же он видит? Тот самый катковский лицеист, который танцевал вальс, высунув вперед руку, подобно дышлу, стоит, согнувшись в полупоклоне, перед Зиночкой, а та встает и кладет ему на плечо свою руку, медленно склоняя в то же время прекрасную головку на стройной гибкой шее.

Больше Александров не хочет и не может смотреть. Теперь он уверенно знает, что им совершена какая-то грубая, непростимая ошибка, какая-то нелепая и смешная неловкость, которую загладить уже нет ни времени, ни возможности... Пойти объясниться? Просить прощения? Нет, это значило бы громоздить глупость на глупость... Ни раздражения, ни упрека нет у него в душе против Зиночки. Распускалось, расцветало какое-то легкое, чудесное, сверкающее счастье и вдруг померкло, исчезло. Весь мир теперь для юнкера вдруг окрасился желтым тоном, тусклым и скучным, точно он надел желтые очки.

Звуки резвой музыки кажутся унылыми. Печально колеблются огни оплывших огарков в люстрах и шандалах, лица, которые он видит, – все стали некрасивы, несимметричны и бледны.

Тоска!

Он вышел из зала и спустился по лестнице в швейцарскую. Великолепный пурпурно-золотой Порфирий принял его как радушный хозяин.

– Во вторую дверцу-с и направо, – показал он рукой. – Не нужно? Тогда не угодно ли будет вам, господин юнкер, освежиться холодной водицей? Одеколон есть, брокеровский. Ах, вам покурить, господин юнкер? Замалялись, танцевавши?

– Нет... так как-то...

Хотелось было юнкеру сказать: «Мне бы стакан водки!» Читал он много русских романов, и в них очень часто отвергнутый герой нарезывался с горя водкою до потери сознания. Но большое усатое лицо швейцара было так просто, так весело и добродушно, что он почувствовал стыд за свою случайную дурацкую мысль.

Но Порфирий, точно каким-то волшебным чутьем угадав и эту мысль и настроение юнкера, вдруг сказал:

– А что я позволю себе предложить вам, господин юнкер? Я от роду человек не питуший, и вся наша фамилия люди трезвые. Но есть у меня вишневая наливочка, знатная. Спирту в ней нет ни капельки, сахар да сок вишневый, да я бы вам и не осмелился... а только очень уже сладко и от нервов может помогать. Жена моя всегда ее употребляет рюмочку, если в расстройстве. Я сейчас, мигом.

– Да не надо, Порфирий. Спасибо тебе. Не стоит.

– Я сейчас...

Он скрылся в своей швейцарской норке, позвонил слегка посудой и вышел с рюмкой на подносе. Это была старинная граненая рюмка красного богемского, или, как говорят в Москве, «бемского» хрустала, с гравированными гранями. Густая темная жидкость колыхалась в ней, отсвечивая зеленым блеском.

– Кушайте на доброе здоровье, батюшка, – ласково промолвил Порфирий. – Так-то вот оно и хорошо будет. Не повторите ли?

– Нет, что ты, Порфирий. Превосходная наливка, – говорил юнкер, вытирая губы

платком. – Очень тебе благодарен.

– Э, нет, нет, этого уж, пожалуйста, не надо, – заторопился Порфирий, заметив, что юнкер опускает руку в карман за деньгами. – Это я за честь считаю угостить александровского юнкера, а не так, чтобы с корыстью.

Наливка – и правда – была совсем не приправлена спиртом, но от сахара и ягод в ней, должно быть, произошло свое винное брожение. У юнкера слегка, но приятно захватило дыхание и зашипало слюнные железы.

И не так наливка, как милое, сердечное, совсем московское обращение Порфирия и его славное, доброе лицо сделало то, что желтый скучный газ, только что облекавший все мироздание, начал понемногу свертываться, таять, исчезать. И, должно быть, огорчение Александрова было не из тех, от которых люди запивают, сходят с ума или стреляются. Об этом минутном горе Александров вспомнит когда-нибудь с нежной признательностью, обвеянной поэзией. До зловещих часов настоящего, лютого, проклятого отчаяния лежат впереди еще многие добрые годы.

Проходя верхним рекреационным коридором, Александров заметил, что одна из дверей, с матовым стеклом и номером класса, полуоткрыта и за нею слышится какая-то веселая возня, шепот, легкие, звонкие восклицания, восторженный писк, радостный смех. Оркестр в большом зале играет в это время польку. Внимательное, розовое, плутовское детское личико выглядывает зорко из двери в коридор.

– Вам можно, – говорит девочка лет двенадцати-тринадцати в зеленом платьице. – Только, чур, никому не говорите.

Александров открывает дверь.

Здесь в небольшом пространстве классной комнаты, из которой вынесены парты, усердно танцуют дружка с дружкой под звуки «взрослой» музыки десятка два самых младших воспитанниц, в зеленых юбочках, совсем еще детей, «малышек», как их свысока называют старшие. Но у них настоящее буйное, легкокрылое веселье, которого, пожалуй, нет и в чинном двухсветном зале. И так милы все они, полудетски наивно длинноруки, длинноноги и трогательно неуклюжи!.. Александров с улыбкой вспоминает словцо своего веселого дяди Кости об этом возрасте: «Щенок о пяти ног».

Александров оживает. Отличная, проказливая мысль приходит ему в голову. Он подходит к первой от входа девочке, у которой волосы, туго перетянутые снизу ленточкой, торчат вверх, точно хохол у какой-то редкостной птицы, делает ей глубочайший церемонный поклон и просит витиевато:

– Мадемуазель, не угодно ли будет вам сделать мне величайшую честь и отменное удовольствие протанцевать со мною, вашим покорным слугою, один тур польки?

Девочка робко, неловко, вся покраснев, кладет ему худенькую, тоненькую прелестную ручонку не на плечо, до которого ей не достать, а на рукав. Остальные от неожиданности и изумления перестали танцевать и, точно самим себе не веря, молча смотрят на юнкера, широко раскрыв глаза и рты.

Протанцевав со своею дамой, он с такой же утонченной вычурностью приглашает другую, потом третью, четвертую, пятую, всех подряд. Ну, что за прелесть эти крошечные девчонки! Александров ясно слышит, что у каждой из них волосы пахнут одной и той же помадой «Резеда», должно быть, купленной самой отчаянной контрабандой. Да и сам этот сказочный балок под сурдинку не был ли браконьерством?

И как аккуратно, как ревностно они делают танцевальные па своими маленькими ножками, высоко поднятыми на цыпочки. От старательности, точно на строгом экзамене, они прикусывают нижнюю губку, подпирают изнутри щеку языком и даже высовывают язычок между зубами.

Когда же Александров подходит к очередной даме, то другие тесно его облепляют:

– Пожалуйста, и со мною тоже.

– И со мной, и со мной, и со мной.

– Милый юнкер, а когда же со мной?

И, наконец, тоненький комариный голосок, в котором дрожит обида:

– Да-а! Со всеми танцуют, а со мной не танцуют.

Александров справедлив. Он сам понимает. Какая редкая радость и какая гордость для девчонок танцевать с настоящим взрослым кавалером, да притом еще с юнкером Александровского училища, самого блестящего и любимого в Москве. Он ни одну не оставит без тура польки.

Но он не успевает. На двух воспитанниц не хватает польки, потому что оркестр перестает играть. Увидев две миленькие, готовые заплакать мордочки, с уже вытянутыми в трубочку губами, Александров быстро находитесь:

– Медам. Это ничего не значит. Мы сами себе музыка.

И, подхватив очередную девочку, уже почти пустившую слезу, он бурно начинает польку, громко подыгрывая голосом: «Тра, ля, ля, ля – тра, ля, ля».

Остальные с увлечением следуют за ним, отбивая такт ладошками, и в общем получается замечательный оркестр.

Дотанцевав, он откланивается и хочет уйти. Но маленькие цепкие лапочки хватают его за мундир.

– Не уходите, юнкер, душка, милочка, не уходите от нас.

Он обещает забежать к ним во время следующего танца и с трудом освобождается.

Только что входит Александров в большой зал, подымаясь по ступенькам галереи, как распорядитель торжественно объявляет:

– Последний танец! Вальс!

Через всю залу, по диагонали, Александров сразу находит глазами Зиночку. Она сидит на том же месте, где и раньше, и быстрыми движениями веера обмахивает лицо. Она тревожно и пристально обегает взором всю залу, очевидно, кого-то разыскивая в ней. Но вот ее глаза встречаются с глазами Александрова, и он видит, как радость заливает ее лицо. Нет. Она не улыбается, но юнкеру показалось, что весь воздух вокруг нее посветлел и заблестел смехом, точно сияние окружило ее красивую голову. Ее глаза звали его.

Он видел, подходя к ней, как она от нетерпения встала и резким движением сложила веер, а когда он был в двух шагах от нее и только собирался поклониться, она уже приподымала машинально, сама этого не замечая, левую руку, чтобы опустить ее на его плечо.

– Что же вы совсем убежали от меня? Как вам не стыдно? – сказала она, и эти простые, ничего не значащие слова вдруг теплым бархатом задрожали в груди Александрова.

– Я... я... собственно... – начал было он.

Но она перебила его:

– Да, вы, вы, вы. Не нужно ни о чем говорить. Теперь будем только танцевать вальс. Раз-два-три, – подсчитывала она под темп музыки, и они закружились опять в блаженном воздушном потоке.

И тут Зиночка, щекоча невольно его висок своими тонкими волосами, дыша на него порою своим чистым, свежим дыханием, в двух словах развеяла причину их странной молчаливой ссоры издали.

На балах начальство строго следило, чтобы воспитанницы не танцевали с одним и тем же кавалером несколько раз подряд. Это уж было бы похоже на предпочтение, на какое-то избранничество, наконец просто на кидаящееся в глаза взаимное ухаживание. Синяя дама с рыбьей головой сделала Зиночке замечание, что она слишком много уделяет внимания юнкеру Александрову, что это слишком кидается в глаза и, наконец, становится совсем неприличным.

– Во время третьей кадрили она так и пронизывала меня глазищами, и теперь вы понимаете, что я чувствовала себя как связанная.

– Она и на меня так же глядела, – сказал Александров. – Мне даже пришло в голову, что если бы между мной и ею был стеклянный экран, то ее взгляд сделал бы в стекле круглую дырочку, как делает пуля. Ах, зачем же вы мне сразу не сказали?

– У нас уж такая этика. Мы можем наших классных дам всячески изводить, но жаловаться посторонним – это не принято. Но теперь мне все равно. J'ai jete le bonnet par dessus les moulins ⁷. Завтра она пожалуется папе.

– А папа?

– Папа будет от души смеяться. Ах, папочка мой такая прелесть, такой душенька. Но довольно об этом. Вы больше не дуетесь, и я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?

Глава XXIII. Письмо любовное

Кончились зимние каникулы. Тяжеловато после двух недель почти безграничной свободы втягиваться снова в суровую воинскую дисциплину, в лекции и репетиции, в строевую муштру, в раннее вставание по утрам, в ночные бессонные дежурства, в скучную повторяемость дней, дел и мыслей.

Есть у юнкеров в распорядке дня лишь два послеобеденных часа (от четырех до шести) полного отдыха, когда можно петь, болтать, читать посторонние книги и даже прилечь на кровати, расстегнув верхний крючок куртки. От шести до восьми снова зубрежка или черчение под надзором курсовых офицеров.

Александров подсел на кровать к Жданову; так они каждый день ходят друг к другу в гости. Крикнули ротного служителя и послали его в булочную Савостьянова, что наискось от училища через Арбатскую площадь, за пирожными – пара пятачок. Жданов, как более солидный и крепкий, заказал себе два яблочных и два тирольских; более легковесный Александров – две трубочки с кремом и два миндальных. Поедая пирожные, как-то говорится слаще, занятнее. Самая любимая, никогда не иссякающая тема их разговора, это, конечно, – прошлый недавний бал в Екатерининском институте, со множеством милых маленьких воспоминаний. Вспоминают они, как все девицы, окружив тесным прекрасным роем графа Олсуфьева, упрашивали его не уезжать так скоро, побыть еще полчаса на балу, и как он, мелко топчась на своих согнутых подагрой ногах, точно приплясывая, говорил:

– Не могу, мои красавицы. Сказано в премудростях царя Соломона: время строить и время разрушать, время старому гусару Олсуфьеву танцевать на балу и время ехать домой спатиньки.

– Прелесть граф Олсуфьев? А? – говорит Александров.

– Правда. Молодчина, – соглашается Жданов. – И какой шикарный был ужин, какая осетрина, какой ростбиф!

Но Александрову ближе и милее другие воспоминания. Как ласково и просто сказала княгиня-директриса: «Mesdames, просите ваших кавалеров к ужину». Вот это так настоящая аристократка! Хочется юнкеру сказать и еще кое о чем, более нежном, более интимном; ведь на то и дружба, чтобы поверять друг другу сердечные секреты. Переход из зала в столовую шел по довольно узкому коридору. Было тесно, подвигались с трудом. Плечи Зиновки и Александрова часто соприкасались. Кисть ее руки легко лежала на рукаве Александрова. И вот вдруг на бесконечно краткое время Зиновка сжала руку юнкера и прильнула к нему упругим сквозь одежду телом. Конечно, это вышло случайно, от толкотни, но, кто знает, может быть, здесь была и крошечная, микроскопическая доля умысла? Нет, Жданову он об этом не скажет ни слова. Пусть их связывает восьмилетняя корпусная дружба (оба оставались на второй год, хотя и в разных классах), но Жданов весь какой-то земной, деревянный, грубоватый, много ест, много пьет, терпеть не может описаний природы, смеется над стихами, любит рассказывать похабные анекдоты. Родом он донской казак из Тульской губернии. Он не поймет.

Возвращаются они памятью и к последней минуте, к отъезду из института. Когда

⁷ Я пустилась во все тяжкие (фр.).

спускались юнкера по широкой, растреллиевской лестнице в прихожую, все воспитанницы облепили верхние перила, свешивая вниз русые, золотые, каштановые, рыжие, соломенные, черные головки.

– Благодарим вас! Спасибо, милые юнкера, – кричали они уходящим, – не забывайте нас! приезжайте опять к нам на бал! До свиданья! До свиданья!

И тут Александров вдруг ясно вспомнил, как, низко перегнувшись через перила, Зиночка махала прозрачным кружевным платком, как ее смеющиеся глаза встретились с его глазами и как он ясно расслышал снизу ее громкое:

– Пишите! пишите!

С этого момента, по мере того как уходит в глубь прошлого волшебный бал, но все ближе, нежнее и прекраснее рисуется в воображении очаровательный образ Зиночки и все тревожнее становятся ночи Александрова, – им все настойчивее овладевает мысль написать Зиночке Бельшевой письмо. Конечно, оно будет написано вежливо и почтительно, без всякого, самого малейшего намека на любовное чувство, но уже одно то будет бесконечно радостно, если она прочтает его, прикоснется к нему своими невинными пальцами. Александров пишет письмо за письмом на самой лучшей бумаге, самым лучшим старательным почерком и затем аккуратно складывает их в шестьдесят четвертую долю. Само собой разумеется, что письмо пойдет не по почте, а каким-нибудь обходным таинственным путем.

В первое же воскресенье он к двум часам отправляется в Екатерининский институт. Великолепный огромный швейцар Порфирий тотчас же с видимым удовольствием узнает его.

– Добро пожаловать, господин юнкер! Как изволите поживать? Как драгоценное здоровьице? Чем служу вам?

Александров осторожно закидывает удочку:

– Прошлый раз, Порфирий, угощал ты меня вишневой наливкой. Изумительная была наливка, но только в долгу – как хочешь – оставаться я не люблю. Вот...

Он протягивает швейцару зеленую трехрублевую бумажку, еще теплую, почти горячую от нервно тискавшей ее руки.

Левое веко у Порфирия чуть-чуть играет, готовое лукаво подмигнуть.

– Да вы бы попросту, господин юнкер. Сказали бы, в чем дело-то? А денежки извольте спрятать.

Запинаясь, отворачивая лицо, Александров говорит малосвязно:

– Тут это... вот... моя двоюродная сестра... Это... барышня Бельшева... Зинаида... Письмо от родственников...

– С удовольствием, с великим моим удовольствием-с, господин юнкер. Передам без малейшего замедления. Только кому раньше представить: классной даме или самому господину профессору? Как я состою по присяге...

«Черт! Не вышло!» – говорит про себя Александров и уходит посрамленный. Он сам чувствует, как у него от стыда колюче покраснело все тело.

Но уже, как маньяк, он не может отвязаться от своей безумной затеи. Учитель танцев, милейший Петр Алексеевич Ермолов? Но тотчас же в памяти встает величая важная фигура, обширный белый вырез черного фрака, круглые плавные движения, розовое, полное, бритое лицо в седых, гладко причесанных волосах. Нет, с тремя рублями к нему и обратиться страшно. Говорят, что раньше юнкера пробовали, и всегда безуспешно.

Но с Ермоловым повсюду на уроки ездит скрипач, худой маленький человечек, с таким ничего не значащим лицом, что его, наверно, не помнит и собственная жена. Уждав время, когда, окончив урок, Петр Алексеевич идет уже по коридору, к выходу на лестницу, а скрипач еще закутывает черным платком свою дешевую скрипку, Александров подходит к нему, показывает трехрублевку и торопливо лепечет:

– Понимаете ли?... Здесь ничего нет дурного или предосудительного... Тут только одно семейное дело о наследстве. Необходимо уведомить, чтобы не попало в чужие руки...

Сделайте великое одолжение.

Но скрипач отмахивается обеими руками вместе с закутанной в черное скрипкой.

– Да упаси меня бог! Да что вы это придумали, господин юнкер? Да ведь меня Петр Алексеевич мигом за это прогонят. А у меня семья, сам-семь с женою и престарелой родительницей. А дойдет до господина генерал-губернатора, так он меня в три счета выселит навсегда из Москвы. Не-ет, сударь, старая история. Имею честь кланяться. До свиданья-с! – и бежит торопливо следом за своим патроном.

Но громадная сила – напряженная воля, а сильнее ее на свете только лишь случай. Как-то вечером, в часы отдыха, юнкера сбились кучкой, человек в десять, между двумя соседними постелями. Левис-оф-Менар рассказывал наизусть содержание какого-то переводного французского романа не то Габорио, не то Понсон дю Террайля. Вяло, без особого внимания подошел туда Александров и стал лениво прислушиваться.

– Тогда-то, – продолжал медленно Левис, – кровожадные преступники и придумали коварный способ для своей переписки. Они писали друг другу самые обыкновенные записки о самых невинных семейных делах, так, что никому не пришло бы никогда в голову придаться к их содержанию. Но на чистом листке они передавали свои хищнические планы при помощи пера, обмакнутого в лимонный сок. Некоторую покоробленность бумаги они сглаживали горячим утюгом, и получателю стоило подержать этот белый лист около огня, как немедленно и явственно выступали на нем желтые буквы...

Слова Левиса сразу, точно молния, озарили Александрова.

«Вот что мне нужно! А там, суди меня бог и военная коллегия!»

В ближайшую субботу он идет в отпуск к замужней сестре Соне, живущей за Москвой-рекой, в Мамонтовском подворье. В пустой аптекарский пузырек выжимает он сок от целого лимона и новым пером номер 86 пишет довольно скромное послание, за которым, однако, кажется юнкеру, нельзя не прочитать пламенной и преданной любви:

«Знаю, что делаю дурно, решаясь писать Вам без позволения, но у меня нет иного средства выразить глубокую мою благодарность судьбе за то, что она дала мне невыразимое счастье познакомиться с Вами на прекрасном балу Екатерининского института. Я не могу, я не сумею, я не осмелюсь говорить Вам о том божественном впечатлении, которое Вы на меня произвели, и даже на попытки сделать это я смотрю как на кощунство. Но позвольте смиренно просить Вас, чтобы с того радостного вечера и до конца моих дней Вы считали меня самым покорным слугой Вашим, готовым для Вас сделать все, что только возможно человеку, для которого единственная мечта – хоть случайно, хоть на мгновение снова увидеть Ваше никогда не забываемое лицо. Алексей Александров, юнкер 4-й роты 3-го Александровского военного училища на Знаменке».

Когда буквы просохли, он осторожно разглаживает листик Сониным утюгом. Но этого еще мало. Надо теперь обыкновенными чернилами, на переднем листе написать такие слова, которые, во-первых, были бы совсем невинными и неинтересными для чужих контрольных глаз, а во-вторых, дали бы Зиночке понять о том, что надо подогреть вторую страницу.

Очень быстро приходит в голову Александрову (немножко поэту) мысль о системе акростиха. Но удастся ему написать такое сложное письмо только после многих часов упорного труда, изорвав сначала в мелкие клочки чуть ли не десть почтовой бумаги. Вот это письмо, в котором начальные буквы каждой строки Александров выделял чуть заметным нажимом пера.

«Дорогая Зизи,
П омнишь ли ты, как твоя старая тетя
О ля тебя так называла? Прошло два го-
д а, что от тебя нет никаких пис-
е м. Я думаю, что ты теперь вы-
р осла совсем большая. Дай тебе бо-
ж е всего лучшего, светлого
и , главное, здоровья. С первой поч-

т ой шлю тебе перчатки из козь-
е й шерсти и платок оре-
н бургский. Какая радость нам,
а нгел мой, если летом приедешь в
О зерище. Уж так я буду обере-
г ать тебя, что пушинки не дам сесть.
Н яня тебе шлет пренизкие поклоны.
Е е зимой все ревматизмы мучили.
Миша в реальном училище,
Учится хорошо. Увлекается
Акростихами . Целую тебя
Крепко. Вашим пишу отдельно.
Твоя любящая
Тетя Оля».

На конверт прилепляется не городская, а (какая тонкая хитрость) загородная марка. Сбьющимся сердцем опускает его Александров в почтовый ящик. «Корабли сожжены», – пышно, но робко думает он.

На другой день ранним утром, в воскресенье, профессор Дмитрий Петрович Бельшев пьет чай вместе со своей любимицей Зиной. Домашние еще не вставали. Эти воскресные утренние чаи вдвоем составляют маленькую веселую радость для обоих: и для знаменитого профессора, и для семнадцатилетней девушки. Он сам prepares чай с некоторой серьезной торжественностью. Сначала в сухой горячий чайник он всыпает малую пригоршеньку чая, обливает его слегка крутым кипятком и сейчас же сливает воду в чашку.

– Это для того, – говорит он серьезно, – что необходимо сначала очистить зелье, ибо собирали его и готовили язычники-китайцы, и от их рук чай поганый. В этом, по крайней мере, уверено все Замоскворечье. – Затем он опять наливает кипяток, но совсем немного, закутывает чайник толстой суконной крышкой в виде петуха, для того чтобы настоялся лучше, и спустя несколько минут наливает его уже доверху. Эта церемония всегда смешит Зину.

Затем Дмитрий Петрович своими большими добрыми руками, которыми он с помощью скальпеля разделяет тончайшие волокна растений, режет пополам дужку филипповского калача и намазывает его маслом. Отец и дочка просто влюблены друг в друга.

В дверь стучат.

– Войдите!

Входит Порфирий в утренней тужурке.

– Почта-с.

Профессор не спеша разбирает корреспонденцию.

– А это тебе, Зина, – говорит он и осторожно перебрасывает письмо через стол.

Зина вскрывает конверт и долго старается понять хоть что-нибудь в этом письме. Шутка? Мистификация? Или, может быть, кто-нибудь перепутал письма и конверты? – Папочка! Я ничего не понимаю, – говорит она и протягивает письмо отцу.

Профессор несколько минут изучает письмо, и чем дальше, тем больше расплывается на его умном лице веселая улыбка.

– Тетя Оля? – восклицает он. – Да как же ты ее не помнишь? Вспомни, пожалуйста. Такая высокая, стройная. У нее еще были заметные усики. И танцевать она очень любила. Возьми, возьми, почитай повнимательней.

Через неделю, после молитвы и переключки командир четвертой роты Фофанов, он же Дрозд, проходит вдоль строя, передавая юнкерам письма, полученные на их имя. Передает он также довольно увесистый твердый конверт Александрову. На конверте написано: «Со вложением фотографической карточки».

– Э-э, не покажешь мне?

– Так точно, господин капитан.

Юнкер торопливо разрывает оболочку. Это прелестное личико Зиночки и под ним краткая надпись: «Зинаида Бельшева».

– Э-э... Очень хороша, – говорит Дрозд. – Ну, что? Теперь жалеешь, что поехал на бал?

– Никак нет...

Глава XXIV. Друзки

Кончился студеный январь, прошел густоснежный февраль, наворотивший круглые белые сугробы на все московские улицы. Медленно тянется март, и уже висят по утрам на карнизах, на желобах и на железных картузах зданий остроконечные сосульки, сверкающие на солнце, как стразы горного хрусталя, радужными огоньками.

По улицам «ледяные» мужики развозят с Москвы-реки по домам, на санях, правильно вырубленные плиты льда полуаршинной толщины. Еще холодно, но откуда-то издалека-издалека в воздухе порою пахнет Масленицей.

У юнкеров старшего курса шла отчаянная зубрежка. Пройдут всего два месяца, и после храмового праздника училища, после дня святых великомучеников Георгия и царицы Александры, их же память празднуется двадцать третьего апреля, начнутся тяжелые страшные экзамены, которые решат будущую судьбу каждого «обер-офицера». В конце лета, перед производством в первый офицерский чин, будут посланы в училище списки двухсот с лишком вакансий, имеющих в различных полках, и право последовательного выбора будет зависеть от величины среднего балла по всем предметам, пройденным в течение всех двух курсов. Конечно, лучшим ученикам – фельдфебелям и портупей-юнкерам – предстоят выборы самых шикарных, видных и удобных полков. Во-первых, лейб-гвардия в Петербурге. Но там дорого служить, нужна хорошая поддержка из дома, на подпоручичье жалованье – сорок три рубля двадцать семь с половиной копеек в месяц – совсем невозможно прожить. Потом – сукодная гвардия в царстве Польском. Очень хорошая форма, но тоже немного дороговато. Затем – артиллерия. Дальше следуют стоянки в столицах или больших губернских городах, преимущественно в гренадерских частях. Дальше лестница выборов быстро сбегала вниз, спускаясь до каких-то ни разу не упоминавшихся на уроках географии городишек и гарнизонных батальонов, заброшенных в глубины провинции.

Александров учился всегда с середиными успехами. Недалекое производство представлялось его воображению каким-то диковинным белым чудом, не имеющим ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Одной его заботой было окончить с круглым девятью, что давало права первого разряда и старшинство в чине. О последнем преимуществе Александров ровно ничего не понимал, и воспользоваться им ему ни разу в военной жизни так и не пришлось.

Однако всеобщая зубрежка захватила и его. Но все-таки работал он без особенного старания, рассеян и небрежно. И причиной этой нерадивой работы была, сама того не зная, милая, прекрасная, прелестная Зиночка Бельшева. Вот уже около трех месяцев, почти четверть года, прошло с того дня, когда она прислала ему свой портрет, и больше от нее – ни звука, ни послушания, как говорила когда-то нянька Дарья Фоминишна. А написать ей вторично шифрованное письмо он боялся и стыдился.

Много, много раз, таясь от товарищей и особенно от соседей по кровати, становился Александров на колени у своего деревянного шкафчика, осторожно доставал из него дорогую фотографию, освобождал ее от тонкого футляра и папиросной бумаги и, оставаясь в такой неудобной позе, подолгу любовался волшебным милым лицом. Нет, она не красавица, подобная тем блестящим, роскошным женщинам, изображения которых Александров видел на олеографиях Маковского в приложениях к «Ниве» и на картинках в киосках Аванцо и Дациаро на Кузнецком мосту. Но почему каждый раз, когда Александров подолгу глядел на ее портрет, то дыхание его становилось томным, сохли губы и голова слегка кружилась сладко-сладко? Какая тайна обаяния скрывалась в этих тихих глазах под длинными, чуть выгнутыми вверх ресницами, в едва заметном игривом наклоне головы, в губах, так мило

сложившихся не то для улыбки, не то для поцелуя?

Рассматривая напряженно фотографию, Александров все ближе и ближе подносил ее к глазам, и по мере этого все увеличивалось изображение, становясь как бы более выпуклым и точно оживая, точно теплея.

Когда же, наконец, его губы и нос почти прикасались к Зининому лицу, выросшему теперь до натуральной величины, то, испытывая сладостный туман во всем теле, Александров жадно хотел поцеловать Зинины губы и не решался, усилием воли не позволяя себе.

– Так нельзя делать, – уговаривал он самого себя. – Это – стыдно, это тайное воровство и злой самообман. Так мужчине не надлежит поступать. Ведь она же не может тебе ответить!

И со вздохом усталости прятал карточку в шкаф.

Об этих своих странных мучениях он никому не признавался. Только раз – Венсану. И тот сказал, махнув рукой:

– Брось! Ерунда. Просто в тебе молодая кровь волнуется. «Смирять ее молитвой и постом». Пойдем-ка, дружище, в гимнастический зал, пофехтуем на рапирах на два пирожных. Ты мне дашь пять ударов вперед из двадцати... Пойдем-ка.

Дружба Александрова с Венсаном с каждым днем становилась крепче. Хотя они вышли из разных корпусов и Венсан был старше на год.

Вероятно, выгибы и угибы их характеров были так расположены, что в союзе приходились друг к другу ладно, не болтаясь и не нажимая.

На лекциях они всегда сидели рядом и помогали один другому. Александров чертил для Венсана профили пушек и укреплений. Венсан же, хорошо знавший иностранные языки, вставал и отвечал за Александрова, когда немец или француз вызывали его фамилию.

Если лекция бывала непомерно скучна, то друзья развлекались чтением, игрой в крестики, сочинением вздорных стихов. Но любимой их игрой была игра в мечту об усах.

В Венсане не напрасно половина крови была французская: он старательно носил в боковом кармане маленькую щеточку и крошечное зеркальце.

Пусть учитель русской словесности, семинар Декапольский, монотонно бубнил о том, что противоречие идеала автора с действительностью было причиной и поводом всех написанных русскими писателями стихов, романов, повестей, сатир и комедий... Это противоречие надоело всем хуже горькой редьки.

Декапольского никто не слушал.

Венсан вынимал свое зеркальце, внимательно рассматривал, щурясь и вертя голову справа налево, свои юные, едва начавшие пробиваться усы.

– Ну, что? – спрашивал он серьезно. – Как будто опять подросли немного?

– Да, немного побольше стали. А ну-ка, дай-ка теперь мне поглядеть. Ты ведь счастливее. Ты брюнет, и они у тебя черные, а у меня – светло-каштановые, у меня не так они выделяются. Ну а все-таки как? виднее, чем прежде?

– Несомненно. Даже издали видно. Очаровательные усы со временем будут. Позволь, я еще раз на себя погляжу, еще раз...

Потом, не доверяя зеркальному отражению, они прибегали к графическому методу. Остро очиненным карандашом, на глаз или при помощи медной чертежной линейки с транспортиром, они старательно вымеряли длину усов друг друга и вычерчивали ее на бумаге. Чтобы было повиднее, Александров обводил свою карандашную линию чернилами. За такими занятиями мирно и незаметно протекала лекция, и молодым людям никакого не было дела до идеала автора.

Эти двое юнкеров охотно приглашали друг друга на вечера, любительские спектакли и маленькие балы, какие всю зиму устраивались в их знакомых семействах. Тогда вся Москва плясала круглый год и каждый день. Александров представлял Венсана семьям – Синельниковых, Скрипицыных и Владимировых; Венсан водил своего друга все в один и тот же дом, к Шелкевичам. Глава этого семейства, еврей Шелкевич, считался в Москве в числе трех наиболее богатых банкиров. Его ежемесячные домашние балы славились по всему

городу: лучший струнный оркестр, самые красивые женщины Москвы, ужины с фазанами, устрицами, выписанной стерлядью и лучшими марками шампанского, роскошные цветы от Ноева, свежие ананасы и прелестные безделушки для котильонов, которые охотно сохранялись на память даже людьми солидными и уже давно не танцующими.

Венсан был влюблен в младшую дочку, в Марию Самуиловну, странное семнадцатилетнее существо, капризное, своевольное, затейливое и обольстительное. Она свободно владела пятью языками и каждую неделю меняла свои уменьшительные имена: Маня, Машенька, Мура, Муся, Маруся, Мэри и Мари. Она была гибка и быстра в движениях, как ящерица, часто страдала головной болью. Понимала многое в литературе, музыке, театре, живописи и зодчестве и во время заграничных путешествий перезнакомилась со множеством настоящих мэтров.

И лицо у нее было удивительное, совсем, ни на иоту не похожее на все прочие женские лица. Взгляд ее светло-серых глаз был всегда как будто бы слегка затуманен тончайшей голубоватой дымкой. Рот был большой, алчный и красный, но необычайно красивого рисунка, а руки несравненного изящества. И странное выражение было в этом удивительном живом лице: надменность, насмешка и нежная ласка. Она часто танцевала с Александровым и говорила ему нередко, что лучше, ритмичнее и упоительнее его никто не танцует вальса. А его неизменно приводила в смущение ее свободная манера прижиматься к кавалеру всем стройным тонким телом и маленькими, точно гуттаперчевыми грудями. «А вдруг ее родители заметят? и рассердятся? Куда тогда мне от стыда деваться?»

Он избегал с нею разговаривать, боясь ее остроцепкого, безжалостного языка и не находя никаких тем для разговора.

Впрочем, и она оставляла его в покое, довольствуясь им как отличным танцором. И, пожалуй, Александров не без проницательности думал иногда, что она считает его за дурачка. Он не обижался. Он отлично знал, что дома, в общении с товарищами и в болтовне с хорошо знакомыми барышнями у него являются и находчивость, и ловкая поворотливость слова, и легкий незатейливый юмор.

Но что мог поделать бедный Александров со своей проклятой застенчивостью, которую он никак не мог преодолеть, находясь в большом и малознакомом обществе?

Он не завидовал Венсану. Он только удивлялся его уверенности и спокойствию, его натуральной способности быстро схватывать узел разговора, продолжать его и снова завязывать, никогда не позволяя ему иссякнуть. А его шутивное состязание с Марией Самуиловной в остротах и шпильках казалось ему блестящим поединком двух первоклассных мастеров фехтования. Уезжал он от Шелкевичей всегда усталым и с тяжелой головой.

В училище весь день у юнкеров был сплошь туго загроможден учением и воинскими обязанностями. Свободными для души и для тела оставались лишь два часа в сутки: от обеда до вечерних занятий, в течение которых юнкер мог передвигаться, куда хочет, и делать, что хочет во внутренних пределах большого белого дома на Знаменской.

В эти предвечерние часы любо бывало юнкерам петь хором, декламировать, ставить самодельные краткие пьесы, показывать фокусы, слушать рассказы о былом и о прочитанном. В эти часы удобно и уютно было друзьям разговаривать о вещах сердечных, требующих деликатного секрета, особенно о первой любви, которая эпидемически расцветала во всех молодых и здоровых сердцах, переполняя их, искала выхода хоть в словах.

Венсан и Александров каждый вечер ходили в гости друг к другу; сегодня у одного на кровати, завтра – у другого. О чем же им было говорить с тихим волнением, как не о своих неугомонных любовях, которыми оба были сладко заражены: о Зиночке и о Машеньке, об их словах, об их улыбках, об их кокетстве.

И тут сказывалась разность двух душ, двух темпераментов, двух кровей. Александров любил с такою же наивной простотой и радостью, с какою растут травы и распускаются почки. Он не думал и даже не умел еще думать о том, в какие формы выльется в будущем его

любовь. Он только, вспоминая о Зиночке, чувствовал порою горячую резь в глазах и потребность заплакать от радостного умиления.

Венсан был влюблен страстнее и определеннее, со всей сознательностью молодого человека, вступившего в полосу половой зрелости. Но он не скрывал ни от себя, ни от Александра своих практических дальних планов.

– Машенька – прелесть и чудо, – говорил он, – но она еще и умна и образованна. Такая жена всегда будет хорошей вывеской для мужа. А кроме того (зачем же мне притворяться и ломаться перед тобою), – кроме того, она богата и за ней будет хорошее приданое. У нас уже условлено: в день производства я прошу ее руки. Выйду я в Перновский гренадерский полк, на сослужение с братом. Все-таки Москва... Когда мне исполнится двадцать три года, я женюсь на ней, а затем непременно, во что бы то ни стало, поступаю в Академию генерального штаба. Вот уже моя карьера и на виду. Эх, дружище: плохая вещь любовь в шалаше, с собственной стиркой белья и личным кормлением младенцев из рожка.

– Ты циник, – говорил Александров.

Венсан смеялся.

– Совсем нет. Я только соединяю любовь с рассудком. Но ты этого никогда не поймешь. Ты – писатель, и твое одно удовольствие – это парить в облаках...

Глава XXV. Rendez-Vous ⁸

Утренняя переключка – самый важный и серьезный момент в дневной жизни роты. После оклика всех юнкеров поочередно фельдфебель читает приказы по полку. Он же назначает на сутки одного дежурного из старшего курса и двух дневальных из младшего, которые чередуются через каждые четыре часа, он же объявляет о взысканиях, налагаемых начальством.

Наконец, по окончании переключки, выдавались юнкерам полученные на их имя письма. Последнее обыкновенно делал сам Дрозд, и не без некоторой значительности. По уставу он мог бы всякую корреспонденцию юнкеров предварительно просматривать, но он их передавал в нетронутом виде. Он, вероятно, инстинктом понял великую аксиому власти: «Взаимное доверие сильнее связывает начальника с подчиненным, чем подозрение и репрессии». К тому же он понимал, что письмо с воли в закрытое заведение всегда дает радость и тепло, а тронутое чужими руками как-то вянет и охладевает.

В конце февраля Александров получил из рук Дрозда такое трогательное малюсенькое письмо, что его марка, казалось, покрывала весь конверт.

– Гм, – сказал Дрозд, – какая воробьиная переписка!

В строю решительно невозможно заниматься чем-нибудь иным, как строем: это первейший военный завет. Маленькое письмецо жгло карман Александрова до тех пор, пока в столовой, за чашкой чая с калачом, он его не распечатал. Оно было больше чем лаконично, и от него чуть-чуть пахло теми прелестными прежними рождественскими духами!..

«На второй день Масленицы, в два часа пополудни, приходите на каток Чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша З. Б.».

Ваша! О, господи! Ваша! Это словечко точно горячей водою облило юнкера и на минуту сладко закружило его голову.

В этот день первой лекцией для юнкеров старшего курса четвертой роты была лекция по богословию. Читал ее доктор наук богословских, отец Иванцов-Платонов, настоятель церкви Александровского училища, знаменитый по всей Европе знаток истории церкви.

Будучи на первом курсе, Александров с жадным вниманием слушал его поразительные лекции о римских папах эпохи Возрождения и о Савонаролле. Но теперь он читал о разрыве церковью, об исхождении святого духа, о причастии под одним или под двумя видами, о

⁸ Свидание (фр.).

непогрешимости пап и о соборах. Эта тема была суха, схоластична, трудно понимаема.

Александров и вместе с ним другие усердные слушатели отца Иванцова-Платонова очень скоро отошли от него и перестали им интересоваться. Старый мудрый протоиерей не обратил никакого внимания на это охлаждение. Он в этом отношении был похож на одного древнего философа, который сказал как-то: «Я не говорю для толпы. Я говорю для немногих. Мне достаточно даже одного слушателя. Если же и одного нет – я говорю для самого себя».

У Иванцова-Платонова было много занятий в Троице-Сергиевской духовной академии, в разных богословских обществах, и, кроме того, ему едва хватало времени для издания и корректур его многих и замечательных книг. Он отлично знал, что в училище богословие считается предметом почти необязательным, экзамена по нему не полагалось. И он со спокойным равнодушием ставил всем юнкерам по двенадцати баллов. Также ему было все равно, чем занимаются юнкера на его лекциях. Он даже не глядел на них, произнося свои веские мудрые ученые слова... А юнкера в это время подзубривали военные науки для близкой репетиции, чертили профили и фасы, заданные профессорами артиллерии и фортификации, упражнялись в топографическом искусстве, читали книжки Дюма-отца или попросту срисовывали лысую, почти голую мощную голову прославленного пастыря. Требовалась только условная минимальная тишина, ибо Иванцов-Платонов готовился к ближайшей лекции в более серьезном месте.

Александров, как и всегда, сел рядом с Венсаном и протянул ему полученное письмецо. Венсан неторопливо с серьезным видом рассмотрел и отдал назад.

– Ну что же, Александров, ты – счастливец, – сказал он с дружеской улыбкой. (У них уже давно вошло в обычай говорить друг другу «вы» по делам училищным и «ты» – по делам дружбы, тонких чувств и любви.)

– Вчера, только вчера ты не осмеливался прикоснуться губами к ее фотографическому портрету, а, смотри, сегодня она тебе назначила randevu на катке, где ты поцелуешь не кусок картона, а, может быть, живую теплую душистую перчатку на маленькой ручке. Ох, уж вы мне, скрипучие пессимисты!

– А погляди, погляди, – волновался Александров, – погляди, как она, мое божество, подписалась. «Ваша». Это значит – моя, моя, моя, моя. Моя.

Суровый реалист Венсан не согласился.

– Ваша – это не значит – твоя. Ваша или ваш – это только условное и не очень почтительное сокращение обычного окончания письма. Занятые люди нередко, вместо того чтобы написать: «теперь, милостивый государь мой, разрешите мне великую честь покорнейше просить Вас увериться в совершенной преданности, глубоком почтении и неизменной готовности к услугам Вашим покорнейшего слуги Вашего...» Вместо всей этой белиберды канцелярской умный и деловитый человек просто пишет: «Ваш Х.», и все тут.

Александров сделал кислое лицо.

– Ну вот, ты всегда такой практик. Все ты через серые очки видишь. А ты обратил внимание на подругу?

– Как же, обратил. Это, наверное, будет дуэнья, барышня постарше и поне красивее, строгого характера, и потому я заранее отказываюсь от удовольствия сопровождать тебя на чистопрудный каток и занимать на морозе апатичную, неразговорчивую дурнушку.

– Ах, Венсан!

– Нет, голубчик, – смягчился дружок. – У меня на второй день Масленой недели тоже – приглашение и – тоже на каток, но только на Патриаршем пруду, от Машеньки Шелкевич, от моей прекрасной еврейки.

– Эх, пропало мое дело, – уныло сказал Александров и причмокнул языком.

– Почему пропало? Я хоть и реалист и практический человек, но зато верный и умный друг. Посмотри-ка на письмо Машеньки: она будет ждать меня к четырем часам вечера, и тоже с подругой, но та превеселая, и ты от нее будешь в восторге. Итак, ровно в два часа мы оба уже на Чистых прудах, а в четыре без четверти берем порядочного извозчика и катим на Патриаршие. Идет?

– Ах, дорогой мой, как ты хорошо распорядился! А у меня уж было печенки заболели. Ты добр и великодушен, бледнолицый брат мой.

– То-то.

В субботу юнкеров отпустили в отпуск на всю неделю Масленицы. Семь дней перерыва и отдыха посреди самого тяжелого и напряженного зубрения, семь дней полной и веселой свободы в стихийно разгулявшейся Москве, которая перед строгим Великим постом вновь возвращается к незапамятным языческим временам и вновь впадает в широкое идолопоклонство на яростной тризне по уходящей зиме, в восторженном плясе в честь весны, подходящей большими шагами.

Вчера еще Москва ела жаворонков: булки, выпеченные в виде аляповатых птичек, с крылышками, с острыми носиками, с изюминками-глазами. Жаворонок – символ выси, неба, тепла. А сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы – тысячелетний блин, внук Дажбога. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце, блин полит растопленным маслом, – это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей.

О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбным, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкой, и со знаменитым сметком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной.

А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий доппель-кюммель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка, и... всех не перечислишь.

А сколько блинов съедается за Масленую неделю в Москве – этого никто никогда не мог пересчитать, ибо цифры тут астрономические. Счет приходилось бы начинать пудами, переходить на берковцы, потом на тонны и вслед за тем уже на грузовые шестимачтовые корабли.

Ели во славу, по-язычески, не ведая отказа. Древние старожилы говорили с прискорбием:

– Эх! Не тот, не тот ныне народ пошел. Жидковаты стали люди, не емкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым – кто больше съест блинов. И что же вы думаете? На тридцать втором блине, не сходя с места, богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в мое молодое время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, а запивал непременно лимонной настойкой с рижским бальзамом.

Но Александров блинного объедения не понимает и к блинам особой страсти не чувствует. Съел парочку у мамы, парочку у сестры Сони и стал усиленно готовиться ко вторичной встрече. Его стальные коньки, лежавшие без употребления более года в чулане, оказывается, кое-где успели заржаветь и в чем-то перепачкались; пришлось над ними порядочно повозиться, смазывая их керосином, обтирая теплым деревянным маслом и, наконец, полируя наждаком особенно неподатливые ржавчинки.

Когда же коньки были приведены в полный порядок, Александров вспомнил о том, что он уже давно, уже более года не занимался благородным спортом бегания на коньках. Надо было немедленно заняться необходимой тренировкой. Правда, девушки в конькобежном искусстве всегда стоят гораздо ниже молодых людей, однако Александрову приходилось дважды в своей жизни видеть совершенно обратные примеры, оба на большом катке Зоологического сада. Один раз это была датчанка, другой – суровая норвежская девица. В быстроте и выносливости их не мог победить ни один из московских профессионалов-

мужчин. Но в фигурном заезде выше их по очкам оказывался каждый раз преподаватель гимнастики в Александровском училище – Постников, знаменитый московский спортсмен.

«Ну, конечно, Зиночка Бельшева не датчанка, не норвежка, но, судя по тому, как она ходит, и как танцует, и как она чутка к ритму и гибка и ловка в движениях, можно предположить, что она, пожалуй, очень искусна в работе на коньках. А вдруг я окажусь не только слегка слабее ее, а гораздо ниже. Нет! Этого унижения я не могу допустить, да и она меня начнет немного презирать. Иду сейчас же упражняться».

Самый близкий каток от Кудрина был как раз на Патриарших прудах, но за вход на его заботливо содержимое ледяное поле и за музыку полагалось со своими коньками десять копеек... И отсюда-то и начались лютые горести и моральные муки для бедного вновь влюбленного юнкера в звании обер-офицера, Алексея Александрова.

Смета его предполагаемых расходов была колоссально велика, даже считая в обрез: суббота, воскресенье, понедельник – три дня, каждый день по два упражнения на Патриарших, итого шесть раз – шестьдесят копеек. Вход на Чистые пруды – гривенник, итого семьдесят копеек. Угостить чем-нибудь Зиночку. Довезти ее домой на извозчике. Заплатить за нее служнице.

А у Александрова не было ни единой копейки. О свинская, о подлая бедность! Неужели придется отказаться? не прийти? сказать через Венсана, что заболел мгновенно дифтеритом или сломал ногу?

Прости-прощай навсегда, светлый, милый, нежный облик Зиночки, ласковой волшебницы, такой прелестной душеньки, с которой не сравняются никакие знаменитые красавицы. Прощай, любовь моя! И все это из-за жалких копеек!

Он мог бы обратиться к матери и попросить ее, но он давно знал, как она непоколебима в своих убеждениях, внушенных ей чужим злобным и глупым авторитетом.

Была у мамы такая давняя, необычайно почитаемая старшая подруга, Мария Ефимовна Слепцова – самая важная, самая либеральная и самая неоспоримо умная особа в Вышнем Волочке. Она в год раза четыре приезжала в Москву по делам, навещала маму и всегда-то всех учила, делала замечания, прорицала, предостерегала и тому подобное.

Мать, в силу многолетнего, еще с девичества ненарушимого преклонения, внимала ей, как гласу ангельскому с небес, и, сама очень свободолюбивая по натуре, считала ее индюшечью болтовню непререкаемым кладезем мудрости и опыта.

Однажды, перед вечером, когда Александров, в то время кадет четвертого класса, надел казенное пальто, собираясь идти из отпуска в корпус, мать дала ему пять копеек на конку до Земляного вала, Марья Ефимовна зашипела и, принявшись теребить на обширной своей груди старинные кружева, заговорила с тяжелой самоуверенностью:

– Я тебя не понимаю, Люба, – разве это педагогично давать детям или, скажем, юношам деньги на руки? К чему они ему? (Александров-то знал – к чему: на пару тирольских пирожных у корпусного разносчика Егорки.) Он, слава богу, обут, одет и учится в хорошем, теплом и хорошо освещенном помещении. Куда же ему девать деньги? На конку? Но для мальчика его возраста пройти пешком от Кудрина до Лефортова одно только удовольствие! А мы не раз видали, и слышали, и читали, к каким плачевным, роковым результатам приводит молодежь раннее знакомство с деньгами и с тем, что можно получить за деньги.

– Вы правы, Марья Ефимовна, вы совершенно правы, – говорила покорно Алешина мать. – Я приму ваши золотые слова к самому сердцу. Как вы добры и мудры!

Вышневолоцкая пифия совсем рассиропилась и продолжала томным голосом:

– В особенности я об этом говорю потому, что знаю, Любочка, твое совсем не богатое положение. Но я надеюсь, что ты позволишь мне на основании нашей старой дружбы подарить твоему милему мальчику вот этот рубль, который ты будешь расходовать на его маленькие невинные забавы.

Александров быстро надел фуражку и пошел к двери.

– Алеша, поблаговари! Алеша, прости с Марьей Ефимовной! – тревожно кричала

мать.

– Не стоит, – ответил дрожащим голосом кадет и хлопнул дверью.

Александров молчал, предаваясь унылым думам. Мать тоже молча вышивала гарусом по канве, и часто слышался роговой тихий стук ее спиц.

«Нет, у мамы стыдно и бесполезно просить. Ведь она для себя никогда не жила. Все для нас. Выезжать надо было сестрам – продала две родовые деревнюшки Зубово и Щербатовку с землей. Приданое понадобилось – отдала пополам бабушкино наследство. Пошли дети у сестер – она и бабкой и нянькой, – сама из рожка кормила. И всегда она нас в детстве вывозила летом на дачу из пыльной пламенной Москвы и там бывала нам и кухаркой и горничной. А мне, балбесу, лентяю и грубияну, не могшему одолеть первых начал алгебры, разве не нанимала она репетиторов, или, как она сама называла, „погонялок“.

Ах! К ней никак невозможно и, стало быть, – пропал счастливый второй день Масленицы. Жестокая моя жизнь!»

Но есть в мире удивительное явление: мать с ее ребенком еще задолго до родов соединены пуповиной. При родах эту пуповину перерезают и куда-то выбрасывают. Но духовная пуповина всегда остается живой между матерью и сыном, соединяя их мыслями и чувствами до смерти и даже после нее.

– Ты что же, Алеша, надулся, как мышь на крупу? – сказала тихонько мать. – Иди-ка ко мне. Иди, иди скорее! Ну, положи мне голову на плечо, вот так.

– Да я, мамочка... так...

– Ну говори, рассказывай. Я уж давно чувствую, что ты какой-то весь смутный и о чем-то не переставая думаешь. Скажи, мой светик, скажи откровенно, от матери ведь ничто не скроется. Чувствую, гложет тебя какая-то забота, дай бог, чтобы не очень большая. Говори, Алешенька, говори – вдвоем-то мы лучше разберем.

Милый, с колыбели родной голос, нежные, давно привычные слова растопили угрюмость юнкера. Мать гладила его волосы, а он рассказывал все по порядку: блестящий рождественский бал в Екатерининском институте, куда его почти насильно отправил Дрозд. Танцы. Знакомство с Зиной Бельшевой. Летучая ссора, наивное примирение. Первая любовь, настоящая, пылкая и на веки вечные (прежние дачные любвишки не в счет. Так – баловство, обезьянство, подражание прочитанным романам). Рассказал также Александров о том, как написал обожаемой девушке шифрованное письмо, лимонными чернилами с акrostихом выдуманной тетки, и как Зина прислала ему очаровательный фотографический портрет, и как он терзался, томясь долгой разлукой и невозможностью свидания.

– Ведь ты же, мама, понимаешь меня? Ты же была в свое время влюблена, прежде чем выйти замуж?

– Нет, нет, Алешенька, мой милый, – тихо засмеялась мать. – В мое время таких влюблений у нас не бывало. Пришли ко мне твои дедушка и бабушка и сказали: «Любушка, к тебе сватается председатель мирового съезда Николай Федорович Александров; человек он добрый, образованный и даже играет на скрипке. Фамилия его хорошая, дворянская. Место почтенное. Ну, как ты скажешь? Пойдешь? Не пойдешь?» – «Как вы, папенька, маменька, скажете». Так я и вышла замуж неполных шестнадцати лет; даже после венчания все куклы свои в мужнин дом перевезла. А ты говоришь влюбление.

– Ах, мамочка, то было – когда, а теперь – теперь совсем другое.

– Да, ладно, хорошо. Верю тебе, что нынче иное. А ты дальше говори.

– А дальше то, что Зина прислала мне в училище вот это коротенькое письмецо, и я теперь не знаю, что делать...

Мать, не торопясь, надела на нос большие в металлической оправе очки и внимательно прочитала записочку. А потом вздела очки на лоб и сказала:

– Быстрая барышня, деловитая и живая. Она из каких же Бельшевых? Не профессора ли Дмитрия Петровича дочка?

– Да, мамочка. Она самая – Зинаида Дмитриевна.

– Ну, что же? Не мое право его укорять, что он дочку на такой широкой развязке держит... Однако он человек весьма достойный и по всей Москве завоевал себе почет и уважение. Впрочем – это не мое дело. Ты лучше прямо мне скажи, что тебе так до смерти нужно? Денег, наверное? Так?

– Так, мамочка. Только мне очень, очень стыдно у тебя просить.

– Ну, стыд не велик. Я еще твоя должница. В прошлом году ты мне шевровые башмаки подарил. Но к чему мне шевро? Я не модница. Стара стала. Я пошла в этот магазин, где ты покупал, и там хорошие прюнелевые ботинки присмотрела и разницу себе взяла. Ну, что же, пяти целковых тебе довольно? Хватит?

Александров прильнул губами к ее морщинистой шее и, горячо целуя ее, растроганно забормотал:

– Этого довольно, совсем довольно. Ах, какая ты у меня восторгательная, мамочка. Какая ты золотая, брильянтовая! Ты подумай только, мама, что бы теперь сказала Мария Ефимовна Слепцова, если бы увидела твою непомерную расточительность!

Мать улыбнулась той милой, славной, стародавней улыбкой, которую так знал и любил Алексей и в которой так наивно скользило беззлобное лукавство.

– Ах, Алешенька! Здесь нас только двое. Никто чужой не услышит. Не в укор и не в осуждение, скажу тебе, что моя Марья Ефимовна при всех своих прекрасных чертах – порядочная-таки дурища, дай ей бог всякого счастья и здоровья. Она еще и в Пензе этим качеством отличалась. Но, однако, при всей своей глупой гордости и при вечном всезнайстве она чрезвычайно добра и всегда готова оказать помощь. Но и тебе, мой Алеша, я должна сказать: научись ты, ради бога, обуздывать свой неумный татарский нрав. Много ты несчастий через него в жизни перетерпишь. Кровь у тебя уж чересчур вспыльчивая.

Глава XXVI. Чистые Пруды

В ту же субботу, ранним вечером, успел Александров сбегать с коньками на небольшой, но уютный и близкий от дома каток Патриарших прудов. Там нынче не было музыки, но зато беговое ледяное поле, находившееся под присмотром ревностных членов конькобежного клуба, отличалось замечательной чистотой и зеркальной гладкостью. Над деревянной кабинкой, где спортсмены надевали на ноги коньки, пили лимонад и отогревались в морозные дни, – висел печатный плакат: «Просят гг. посетителей катка без надобности не царапать лед вензелями и не делать резких остановок, бороздящих паркет».

Александров сначала опасался, что почти шестимесячная отвычка от «патинача» даст себя знать тяжестью, неловкостью и неумелостью движений. Но когда он быстрым полубегом-полускоком обогнул четыре раза гладкую поверхность катка и поплыл большими круглыми, перемежающимися размахами, то сразу радостно почувствовал, что ноги его по-прежнему работают ловко, послушно и весело и отлично помнят конькобежный темп.

Какой-то пожилой толстый спортсмен, с крошечной круглой шапочкой на голове, воскликнул, сбегаая на коньках с деревянной лестницы:

– Браво, господин юнкер! Браво, браво, молодцом.

Александров с широкой улыбкой приложил правую руку к своей барашковой орленой шапке и подумал не без гордости: «Это еще пустяки. А вот ты лучше погляди на меня в следующий вторник, на Чистых прудах, где я буду без шинели, без этого нелепого штыка, в одном парадном мундире, рука об руку с ней, с Зиной Бельшевой, самой прекрасной и грациозной барышней в мире...»

Так он проминал и упражнял свое тело до глубоких сумерек. Когда уже стало ничего не видно вокруг, тогда, приятно усталый и блаженно расслабленный, он с трудом дошел до дома.

Но на другой день, с самого раннего утра, стали давать знать себя последствия неумеренной тренировки, затеянной через большой промежуток пустого времени. Он проснулся с таким чувством, будто его руки, ноги, спина и все тело избиты до синяков.

Каждый мускул болел и ныл и не позволял до себя дотрагиваться. Чтобы встать с постели, Александрову пришлось держаться за стул и кряхтеть совсем по-старчески. Он подумал, что заболел, катаясь вчера на коньках, и, чтобы не тревожить мать, попросил принести ему утренний чай в постель, чего раньше никогда не делал, считая еду в лежащем положении ужасным свинством.

Но мать сама принесла ему чай и калач с маслом. Она сразу увидела, как ее сын мается от ломоты и через силу, с трудом передвигает свои члены, и участливо спросила:

– Что, Алешенька? Никак перекатался вчера?

– Да, немножко, мамочка. Но сам не понимаю, почему меня всего так и тянет, так и разбирает, точно у меня лихорадка. Не хватало еще такой глупости, чтобы захворать на Масленой неделе.

Мать поцеловала его в лоб (так она всегда измеряла температуру у своих детей) и сказала:

– Слава богу, никакой болезни нет. А твое недомогание – вещь простая и легко объяснимая: просто маленькое растяжение мускулов. Бывает оно у всех людей, которые занимаются напряженной физической работой, а потом ее оставляют на долгое время и снова начинают. Эти боли знакомы очень многим: всадникам, гребцам, грузчикам и особенно циркачам. Цирковые люди называют ее коррумпурой или даже колупотурой.

– А как же от нее лечатся? – спросил Александров, вспомнив о недалеком вторнике.

– Да просто никак, Алешенька. Здесь ни массажи, ни втирания, ни внутренние средства не помогают. Поможет только время. А самое лучшее, что я тебе посоветую, Алеша, это – иди сейчас же на каток и начни снова упражняться по-вчерашнему.

– Батюшки, да у меня все тело, сверху донизу, точно расплзается на части. Мне даже шевелиться больно.

– А все-таки возьми да и пошевелись. Клин клином надо вышибать. Это старая народная мудрость. Ногам больно – встань на ноги да пойди. И пойди прямо на каток. Преодолей сам себя и перетерпи всякую боль. А там – как рукой снимет. Ты уж верь мне. Я сколько раз это лечение употребляла. Дядюшка твой, а мой брат, совсем не почтенный Аркадий Алексеевич, был самый отчаянный татарин и самый страстный лошадиный человек во всей Пензенской и Тамбовской губерниях. О боже, сколько он надурил в течение своей жизни. Так, например, он уверял всех, а в особенности меня, тогда девочку лет тринадцати, что во мне зарыт великий талант дикой, неподражаемой и несравненной наездницы, который надо только развить и отшлифовать, и – тогда мне будут свободны все дороги по лошадиной части: в цирк так в цирк, на роль грандиозной наездницы Эльфриды. А то на скачки: женщина-жокей, первая в мире и никем не победимая. Если захочу – в Аравию, тамошних первоклассных лошадей объезжать, или поступлю к английской королеве, шефом ее личной конюшни... Всегда врал князь Аркадий, как непутевый, однако, по правде сказать, был у меня какой-то прирожденный, потомственный дар к лошадям. Я их всегда любила, и они меня любили и слушались. Так что же ты думаешь, этот братец мой Аркаша, сорвиголова, для моего обучения придумал. (Тогда уже он, с такими же любезными братцами – татарскими князьями, – успел наш прекрасный прапрадедовский конный завод разорить дотла своими кутежами всякими и фокусами.) Поедет он, бывало, далеко в киргизские степи и пригонит оттуда большой косяк тамошних лошадей-неуков. А лошади эти были замечательные, и любители их очень ценили. Отличались они, при сравнительно небольшом росте, необыкновенно широкой грудью, четырьмя продушинами в ноздрях и таким долгим духом в скачке, какого у других пород не существует. И свободно ходили иноходью. Но, кроме всех подобных качеств, эти косматые киргизы, как на подбор, были злы, упрямы и непослушны до крайности. Они постоянно и между собой грызлись, и с чужими лошадьми, и человека всегда норовили искушать или копытом ударить. И когда злились, то визжали и скрежетали зубами, как, прости господи, озверелые черти. Вот их-то и объезжал возлюбленный мой братец Аркаша, а потом продавал помещикам-любителям. На них он и начал развивать мой замечательный лошадиный дар. Сначала сажал меня верхом, по-

мужски, без седла, на потнике. Посадит, даст мне хлыст в руку, да как огреет степняка арапником. Да еще мне кричит вдогонку: ты его пори, пори все время. Уж и что же со мной эти киргизы выделывали. Теперь и вспомнить страшно. Вся я ходила в синяках, в рубцах, во шрамах, в шишках. А все-таки старшим не жаловалась. Моя мама, а твоя бабушка, Елизавета Григорьевна, была святой человек, и никто ее не боялся и не слушался, а огорчать ее жалобой было как-то стыдно. А уж признаться по правде, должна сказать, что эти Аркашины лошадиные зверства были для меня приятнее всякой книжки и слаще всех конфет. Случалось иногда со мною, как вот и с тобою нынче, что полгода, год не приходилось мне верхом на лошадь сесть, а потом сразу наезжусь до отвала, и пойдут у меня эти прострелы да ломоты, что еле хожу и все стенаю от боли. Тут непременно является Аркадий со своей ветеринарной помощью:

«Эй, непревосходимая всадница. Люмбагой изволите страдать. Пожалуйте на конюшню. Да не шагом, когда вам берейтор приказывает, а полегалопом. Ну-с!» – и сам арапником щелкает оглушительно. Поневоле побежишь. Он даже сам на седло посадит и коня сзади воодушевит посылом, и марш, марш в широкое поле. Конечно, больно сначала всем суставам. А вернешься домой – и, глядишь, все твои недуги как рукой сняло, без всяких бобковых мазей и перувианских бальзамов. Вот я и тебе, Алешенька, советую, прибегни ты к этому стародавнему героическому средству.

Александров послушался мудрого материнского совета и пошел на Патриаршие пруды, охая, морщась и потирая ноющие места. Прикреплять коньки к каблукам ему казалось невероятно трудным, но еще труднее, неловчее и больнее давались ему разгоны по льду. Так он долго с наморщенным лицом и со срывающимся кряхтением тщетно пытался восстановить давно знакомые ему круги и повороты, и потом он сам не мог понять, как это наступил момент, когда он сам себя спросил: «Позвольте, а где же моя боль? Куда девалась моя досадливая боль?» Медвежье пензенское средство оказалось превосходным.

В этот день (в воскресенье) Александров еще избегал утруждать себя сложными номерами, боясь возвращения боли. Но в понедельник он почти целый день не сходил с Патриаршего катка, чувствуя с юношеской радостью, что к нему снова вернулись гибкость, упругость и сила мускулов.

Во вторник Венсан и Александров встретились, как между ними было уговорено, у церкви Большого Вознесения, что на стыке обеих Никитских улиц – Большой и Малой. По истинно дружеской деликатности они оба поспешили и пришли на место свидания минутами двадцатью раньше условленного срока.

– Давайте, – сказал Венсан, – пойдем, благо времени у нас много, по Большой Никитской, а там мимо Иверской по Красной площади, по Ильинке и затем по Маросейке прямо на Чистые пруды. Крюк совсем малый, а мы полюбуемся, как Москва веселится.

Они пошли рядышком, по привычке в ногу, держась подтянуто, как на ученье, и с механической красивой точностью отдавая честь господам офицерам.

Белые барашки доверчиво и неподвижно лежали на тонком голубом небе. Мороз был умеренный и не щипал за щеки, и откуда-то, очень издалека, доносился по воздуху томный и волнующий запах близкой весны и первого таяния.

Москва была вся откровенно пьяная и весело добродушная. Попадались уже в толпе густо-сизые и пламенно-багровые носы, заплетающиеся ноги и слышались меткие острые московские словечки, тут же вычеканенные и тут же, для сохранности, посыпанные крепкой солью.

– Не мешайте Москве, – сказал глубокомысленно Венсан, – творить свое искусство слова.

Красная площадь вся была переполнена, и по ней приходилось пробираться с трудом. Гроздь бесчисленных воздушных шаров, цветов красной и белой смородины висели высоко в воздухе и точно порывались ввысь. Стаи здешних прирученных голубей беспорядочно кружились над толпою, и часто отдельные растерявшиеся голуби чертили крылами по головам людей. Истоптанный снег и плитки халвы казались одного цвета. Белые лоханки с

мочеными яблоками, пересыпанными красной клюквой, стояли длинными рядами, и московский студент, купив холодное яблоко, демонстративно ел его, громко чавкая от молодечества и от озноба во рту. Есть моченые яблоки на Масленой – это старый обряд московских студентов. И везде блины, блины, блины. Блины ходячие, блины стоячие, блины в обжорном ряду, блины с конопляным маслом, и везде горячий сбитень, сбитень, сбитень, паром поднимающийся в воздухе. Живые американские чертики в узких, длинных склянках. Солдатики оловянные в берестяных коробочках, солдатики деревянные раздвижные, работы балбешников из Троице-Сергиевой лавры, их же медведи с мужиками, и множество всяких живых предсказателей будущего, которые вытаскивают билетки из пачки на счастье: чижи, клесты, овсянки, снегири, скворцы.

– Идем, пора, – говорит Венсан.

– Сию минуту, голубчик, – отвечает Александров, – я только свое счастье вытаску.

Он подходит к ларьку, за которым в клетке беспрестанно прыгает и кувыркается белка.

– Сколько?

– Две копейки-с.

– Давай.

Белка вынимает ему предсказательный билетик, и он спешит присоединиться к товарищу. Они идут поспешным шагом. По дороге Александров развертывает свой билетик и читает его: «Ты особу, о коей давно мечтает сердце ваше, вы скоро улицезреете и с восторгом убедитесь, что чувства ваши совпадают и что лишь злостные препоны мешали вашему свиданию. Месяц ваш Януарий, созвездие же Козерог. Успех в торговых предприятиях и благолепие в браке».

– Можно поглядеть? – спрашивает Венсан.

– Нет, все это пустяки, – отвечает Александров, скомкивая бумажку и пряча ее в карман. Предсказание кажется ему удивительно прозорливым.

Юнкера приходят на Чистые пруды почти в два часа, всего без трех, четырех минут.

– Не беспокойся, – говорит Венсан волнующемуся Александрову. – Четверть часа – это минимум их опоздания, а максимум – они вовсе не приходят. Пойдем ко входу с Мясницкой, тут прямо путь от Екатерининского бульвара.

Александров согласен. Но в эту секунду молчавший до сих пор военный оркестр Невского полка вдруг начинает играть бодрый, прелестный, зажигающий марш Шуберта. Зеленые большие ворота широко раскрываются, и в их свободном просвете вдруг появляются и тотчас же останавливаются две стройные девичьи фигуры.

– Странно, – говорит Венсан с одобрительной улыбкой, – не то оркестр их ждал, не то они дожидались оркестра.

А Александров, сразу узнавший Зиночку, подумал с чувством гордости: «Она точно вышла из звуков музыки, как некогда гомеровская богиня из морской пены», и тут же сообразил, что это пышное сравнение не для ушей прелестной девушки.

Юнкера быстро пошли навстречу приехавшим дамам. Подруга Зиночки Бельшевой оказалась стройной, высокой – как раз ростом с Венсана – барышней. Таких ярко-рыжих, медно-красных волос, как у нее, Александров еще никогда не видел, как не видел и такой ослепительно белой кожи, усеянной веснушками.

А между тем эта девушка была поразительно красива, и ее высоко поднятая голова придавала ей вид гордый и самостоятельный.

– Это моя милая подруга Дэлли, – сказала Зиночка. – Она ирландка и ровно ничего не понимает по-русски, но по-французски она говорит отлично.

В эту минуту Александров представил Зиночке своего товарища:

– Венсан, мой лучший друг.

Она светло улыбнулась и сказала:

– Надеюсь, и мне вы будете хорошим другом.

Венсан свободно и недурно владел французским языком и потому был очень удобным кавалером для рыжей мисс Дэлли. Впрочем, и по виду они представляли такую крупную,

ладно подобранную пару, что на них охотно заглядывалась публика катка.

– Ведите меня в ту будку, где можно надеть коньки, – сказала Зиночка, нежно опуская левую руку на обшлаг серой шинели Александрова. – Боже, в какую жесткую шерсть вас одевают. Это верблюжья шерсть?

Теперь Александров мог свободно наглядеться на свою возлюбленную. Она очень изменилась за время, протекшее от декабря до марта, но в чем состояла перемена, трудно было угадать. Как будто бы в ней отошел, выветрился прежний легкий налет невинного и беспечного детства. Как будто про нее уже можно было сказать: «Да. Она бесспорно красива. Но в ней есть нечто более ценное, более редкое и упоительное, чем красота. Она мила. Мила тем необъяснимым, сладостным притяжением, о котором простонародье так чутко говорит: „Не по хорошу мил, а по милу хорош“. И не есть ли эта загадочная, всепобеждающая „милость“, видимая глазами, только слабый отголосок, только невинный залог расцветающих прелестей ума, души и тела?»

Александров привел Зиночку в деревянный барак, где публика вешала свои пальто на крючки, где продавались бутерброды, чай и ланинские шипучие воды и где давали коньки напрокат.

У Зиночки и Александрова были коньки собственные. Александров опустил на одно колено и сказал:

– Будьте, Зинаида Дмитриевна, пожалуйста, со мною совсем без церемонии. Поставьте вашу ногу на мое колено. Я в один миг надену вам коньки и закреплю их крепко-накрепко.

– Отчего же? – улыбнулась дружески Зиночка. – Я вам буду очень благодарна.

Она проворно сняла свою легкую шубку из шеншеля и повесила ее на крючок. Потом сбросила калоши и поставила ножку на согнутое колено Александрова.

– Вот вам мои коньки. Возьмите. А я немного помогу вам. – Она ловко склонилась и слегка приподняла суконную юбочку. Перед глазами юнкера на мгновение показалась изящная ножка с высоким подъемом. Это вдруг умилило Александрова чуть не до слез: «Господи, какая она прелесть и душенька. И как я люблю ее. Пусть вся ее жизнь будет радостна и светла».

– Вам ловко? Вам не больно? Вам удобно? – спрашивает он с нежной заботливостью. Но Зиночка чувствует себя превосходно. Коньки сегодня точно веселят ноги, и какой день чудесный выдался. Она сходит по ступенькам на лед, громыхая сталью по дереву и с очаровательной неуклюжестью поддерживая равновесие. На льду она делает широкий, красивый круг и, остановившись у лестницы, возбужденно кричит Александрову:

– Сходите скорее на лед. Побежим вместе, да живо, живо.

Александров сбрасывает с себя шинель и шумно сбегает вниз. Они берутся за руки и плывут по длинному катку, одновременно набирая инерцию короткими и сильными толчками. Александров с восторгом чувствует в ней отличную конькобежицу.

– Снимите перчатки, – предлагает она, – теперь не холодно, а без перчаток удобнее и приятнее.

«Ах, в миллион раз приятнее!» – восторженно думает Александров, осторожно и крепко держа в своей грубой ладони ее доверчивую, ласковую, нежную ручку. Они переплетают свои руки наискось и так летят, близко, близко касаясь друг друга, и, как тогда, в вальсе, Александров слышит порою чистый аромат ее дыхания. Потом они садятся на скамейку отдохнуть.

– Помните наш вальс в институте? – спрашивает Зиночка.

– Как же, – отвечает юнкер, – до конца моих дней не забуду. – И спрашивает в свою очередь: – А помните, как нас чуть не опрокинул этот долговязый катковский лицеист?

Он ловит в ее многоцветных зрачках какие-то задорные искры и молчит. Она же отвечает с едва-едва сдерживаемым смехом, но и с легкой краской стыда:

– Представьте, не помню. Вероятно, забыла. Помню только, что танцевать с вами было так приятно, так удобно и так ловко, как ни с кем.

Этот случай с лицеистом повлек за собою новые воспоминания из их коротенького

прошлого, освещенного сиянием люстр, насыщенного звуками прекрасного бального оркестра, обвеянного тихим ароматом первой, наивной влюбленности.

– А вы помните, как мы поссорились? – спрашивает Зиночка.

– И как мило помирились, – отвечает Александров. – Боже, как я был тогда глуп и мнителен. Как бесился, ревновал, завидовал и ненавидел. Вы одним взглядом издалека внесли в мою несчастную душу сладостный мир. И подумать только, что всю эту бурю страстей вызвала противная, замаринованная классная дама, похожая на какую-то снулую рыбу – не то на севрюгу, не то на белугу...

Зиночка осторожно положила пальцы на его горячую руку.

– Оставьте, оставьте, не надо. Нехорошо так говорить. Что может быть хуже заочного, безответственного глумления. Нащекина умная, добрая и достойная особа. Не виновата же она в том, что ей приходится строго исполнять все параграфы нашего институтского, полумонастырского устава. И мне тем более хочется заступиться за нее, что над ней так жестоко смеется... – она замолкает на минуту, точно в нерешительности, и вдруг говорит: – смеется мой рыцарь без страха и упрека.

Александров потрясен. Он еще не перерос того юношеского козлиного возраста, когда умный совет и благожелательное замечание так легко принимается за оскорбление и вызывает бурный протест. Но кроткая и милая нотация из уст, так прекрасно вырезанных в форме натянутого лука, заливает все его существо теплом, благодарностью и преданной любовью. Он встает со скамейки, снимает барашковую шапку и в низком поклоне опускает ее до ледяной поверхности.

– Прошу простить мне мою дурацкую выходку, – говорит он с неподдельным раскаянием, – также примите мои глубокие извинения перед madame Нащекиной.

– Наденьте скорее шапку, – говорит Зиночка. – Вы простудитесь. Ах! Наденьте же, наденьте.

И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь ни на мгновение. Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческого есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствия. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные; им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое истинное блаженство для скромных влюбленных.

«Любишь?» – спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки чуть-чуть розовеют.

«Люблю, люблю, – отвечают глаза Александрова, сияющие выступившей на них прозрачной влагой. – А ты меня любишь?» – «Люблю». – «Любишь». – «Люблю». – «Любишь». – «Люблю». – «Любишь». – «Люблю»...

Самого скромного, самого застенчивого признания не смогли бы произнести их уста, но эти волнующие, безмолвные возгласы: «Любишь. – Люблю» – они посылают друг другу тысячу раз в секунду, и нет у них ни стыда, ни совести, ни приличия, ни осторожности, ни пресыщения. Зиночка первая стряхивает с себя магическое сладостное влияние флюидов. «Люблю, но ведь мы на катке», – благоразумно говорят ее глаза, а вслух она приглашает Александрова:

– Пойдемте еще покатаемся. Попробуем теперь голландскими шагами. Или как надо говорить – гигантскими?

Они опять берутся за руки, но теперь по требованию фигурного номера держатся на большом расстоянии, идут параллельно. Они одновременно вычерчивают правыми ногами огромный полукруг, склоняясь всем телом на правую сторону, и, окончив его, тотчас же переходят на другой большой полукруг, делая его левыми ногами и наклоняясь круто влево. Чем шире круг и чем ниже наклоны, тем красивее и чище считается фигура. Но голландские шаги не очень легкое упражнение. Чтобы вычертить особенно правильный и особенно

широкий круг, надо сделать толчок по льду с наивозможнейшей силой, и эти старания скоро утомляют. Опять Зиновья сидит с Александровым, и опять их глаза поют чудесную многовековую песню: «Любишь – люблю. – Любишь – люблю...» – простую, но самую великую в мире песню.

Но к ним, на сильном разбеге, подлетают мисс Дэлли с Венсаном.

– Ну, я вам скажу, и барышня, – говорит восхищенно Венсан. – Ах, какая артистка на коньках. Я в сравнении с ней в полотерные мальчики не гоюсь. Неужели все ирландские красавицы такие искусницы?.. Кстати, не хотите ли вы поглядеть образцы высшего фигурного патинажа? Сейчас только что приехал на каток знаменитый конькобежец Постников. Он, между прочим, заведует гимнастическими упражнениями в нашем Александровском училище. Пойдемте, пока не навалила публика. Потом не протолпишься.

Они пошли к судейской площадке. На ней стоял в белой фуфайке и белом берете давно знакомый юнкерам Постников, стройный и казавшийся худощавым, бритый по-английски, еще молодой человек, любимец всей спортивной Москвы, впрочем, не только спортивной. Вся Москва от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми: знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодиаконами, которые заставляли страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, а женщин падать в обмороки, знаменитых клоунов, братьев Дуровых, антрепренера оперетки и скандалиста Лентовского, репортера и силача Гиляровского (дядю Гиляя), московского генерал-губернатора, князя Долгорукова, чьей вотчиной и удельным княжеством почти считала себя самостоятельная первопрестольная столица, Сергея Шмелева, устроителя народных гуляний, ледяных гор и фейерверков, и так без конца, удивительных пловцов, голубиных любителей, сверхъестественных обжор, прославленных юривых и прорицателей будущего, чудодейственных, всегда пьяных подпольных адвокатов, свои несравненные театры и цирки и только под конец спортсменов. И все это в пику чиновному Петербургу: «У вас в Питере так-то, а у нас, в Москве, в сто раз хлеще. Куда вам, сопливым».

Постников издали узнал юнкеров и, снявши с головы берет, высоко помахал им:

– Здравствуйте, господа юнкера александровцы.

Юнкера ответили со смехом:

– Здравия желаем, господин учитель.

И тогда Постников, очевидно, давно знавший вес и силу публичной рекламы, громко сказал кому-то, стоявшему с ним рядом на площадке:

– Самые лучшие мои ученики. Прекрасные гимнасты Александровского военного училища.

В толпе, теперь уже довольно большой, слышались густые, прерывистые звуки, точно холеные лошади зареготали на принесенный овес. Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в белом доме на Знаменке, с его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром Крейнбринга и с превосходным строевым порядком на больших парадах и маневрах.

– Нет, это вам не жидкий, золотушный Петербург, а московские богатыри, кровь с молоком.

Венсан и мисс Дэлли успели пробраться в первые ряды зрителей. Зиновья с Александровым очутились (вероятно, случайно) на другом конце, где впереди их был высокий забор, а позади чьи-то спины. Впереди громко зааплодировали. Александров обернулся к своей даме, и она в ту же минуту посмотрела на него, и опять их глаза слились, утонули в сладостном разговоре: «Любишь – люблю, люблю». «Всегда будешь любить?» – «Всегда, всегда». И вот Александров решается сказать не излучающимися флюидами, а грубыми, неподатливыми словами то, что давно уже собиралось и кипело у него в голове. Ему стало страшно. Подбородок задрожал.

– Зинаида Дмитриевна, – начал он глухим голосом. – Я хочу сказать вам нечто очень важное, такое, что переменяет судьбы людей. Позвольте ли вы мне говорить?

Лицо ее побледнело, но глаза сказали: «Говори. Люблю».

– Я вас слушаю, Алексей Николаевич.

– Я – вот что... Я... Я давно уже полюбил вас... полюбил с первого взгляда там... там, еще на вашем балу. И больше... больше любить никого не стану и не могу. Прошу, не сердитесь на меня, дайте мне... дайте высказаться. Я в этом году, через три, три с половиною месяца, стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящая вакансия, и я не стыжусь признаться, что наша семья очень бедна и помощи мне никакой не может давать. Я также отлично знаю тяжелое положение молодых офицеров. Подпоручик получает в месяц сорок три рубля с копейками. Поручик – а это уже три года службы – сорок пять рублей. На такое жалование едва-едва может прожить один человек, а заводить семью совсем бессмысленно, хотя бы и был реверс. Но я думаю о другом. Рая в шалаше я не понимаю, не хочу и даже, пожалуй, презираю его, как эгоистическую глупость. Но я, как только приеду в полк, тотчас же начну подготавливаться к экзамену в Академию генерального штаба. На это уйдет ровно два года, которые я и без того должен был бы прослужить за обучение в Александровском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я ни на капелю не сомневаюсь, ибо путеводной звездой будете вы мне, Зиночка.

Он смутился нечаянно сказанным уменьшительным словом и замолк было.

– Продолжайте, Алеша, – тихо сказала Зиночка, и от ее ласки буйно забилося сердце юнкера.

– Я сейчас кончу. Итак, через два года с небольшим – я слушатель Академии. Уже в первое полугодие выяснится передо мною, перед моими профессорами и моими сверстниками, чего я стою и насколько значителен мой удельный вес, настолько ли, чтобы я осмелился вплести в свою жизнь – жизнь другого человека, бесконечно мною обожаемого. Если окажется мое начало счастливым – я блаженнее царя и богаче миллиардера. Путь мой обеспечен – впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение в обществе и необходимый комфорт в жизни. И вот тогда, Зиночка, позвольте ли вы мне прийти к Дмитрию Петровичу, к вашему глубокочтимому папе, и просить у него, как величайшей награды, вашу руку и ваше сердце, позвольте ли?

– Да, – еле слышно пролепетала Зиночка.

Александров поцеловал ее руку и продолжал:

– Я по материнской линии происхожу от татарских князей. Вы знаете, что по-татарски значит «калым»? Это – выкуп, даваемый за девушку. Но я знаю и больше. В губерниях Симбирской, Калужской и отчасти в Рязанской есть такой же обычай у русских крестьян. Он просто называется выкупом и идет семье невесты. Но он незначителен, он берется только в силу старого обряда. Главное в том – оправдал ли себя парень перед женитьбой. То есть имеется ли у него свой дом, своя корова, своя лошадь, свои бараны и своя птица и, кроме того, почет в артели, если он на отхожих промыслах. Вот так и я хочу себя оправдать перед вами и перед папой. Не могу ни видеть, ни слышать о жалких тлях, гонящихся за приданым. Это – не мужчины. Конечно, до того времени, пока я не совою свою собственную лачугу, вы абсолютно свободный человек. Делайте и поступайте всячески, как хотите. Ни на паутинку не связываю я вашей свободы. Подумайте только: вам дожидаться меня придется около трех лет. Может быть, и с лишним. Ужасно длинный срок. Чересчур большое испытание. Могу ли я и смею ли я ставить здесь какие-либо условия или брать какие-либо обещания? Я скажу только одно: истинная любовь, она, как золото, никогда не ржавеет и не окисляется... Она... – и тут он замолк. Маленькая нежная ручка Зиночки вдруг обвилась вокруг его шеи, и губы ее коснулись его губ теплым, быстрым поцелуем.

– Я подожду, я подожду, – шептала еле слышно Зиночка. – Я подожду. – Горячие слезы закапали на подбородок Александрова, и он с умиленным удивлением впервые узнал, что слезы возлюбленной женщины имеют соленый вкус.

– О чем вы плачете, Зина?

– От счастья, Алеша.

Но к ним уже подходили, пробираясь сквозь толпу, Венсан с огненно-рыжей ирландкой, мисс Дэлли.

Часть III

Глава XXVII. Топография

Июнь переваливает за вторую половину. Лагерная жизнь начинает становиться тяжелой для юнкеров. Стоят неподвижные, удручающе жаркие дни. По ночам непрестанные зарницы молчаливыми голубыми молниями бегают по черным небесам над Ходынским полем. Нет покоя ни днем, ни ночью от тоскливой истомы. Души и тела жаждут грозы с проливным дождем.

Последние лагерные работы идут к концу. Младший курс еще занят глазомерными съемками. Труд не тяжелый: приблизительный, свободный и даже веселый. Это совсем не то, что топографические точные съемки с кипрегелем-дальномером, над которыми каждый день корпят и потеют юнкера старшего курса, готовые на днях чудесным образом превратиться в настоящих взыскательных господ офицеров.

– Это тебе не фунт изюма съесть, а инструментальная съемка, – озверело говорит, направляя визирную трубку на вежу, загоревший, черный, как цыган, уставший Жданов, работающий в одной партии с Александровым, – и это тоже тебе не мутовку облизать. Так-то, друзья мои.

Жутко приходится и Александрову. Для него вопрос о балле, который он получит за топографию, есть вопрос того: выйдет он из училища по первому или по второму разряду. А это – великая разница. Во-первых: при будущем разборе вакансий, чем выше общий средний балл у юнкера, тем разнообразнее и богаче предстоит ему выбор места службы. А во-вторых – старшинство в чине. Каждый подпоручик, явившийся в свой полк со свидетельством первого разряда, становится в списках выше всех других подпоручиков, произведенных в этом году. И высокий чин поручика будет следовать ему в первую очередь, года через три или четыре. Это ли не поводы великой важности и глубочайшей серьезности?

Но вся задача – в том суровом условии, что для первого разряда надо во что бы то ни стало иметь в среднем счете по всем предметам никак не менее круглых девяти баллов; жестокий и суровый минимум!

Вот тут-то у Александрова и гнездится досадная, проклятая нехватка. Все у него ладно, во всех научных дисциплинах хорошие отметки: по тактике, военной администрации, артиллерии, химии, военной истории, высшей математике, теоретической топографии, по военному правоведению, по французскому и немецкому языкам, по знанию военных уставов и по гимнастике. Но горе с одним лишь предметом: с военной фортификацией. По ней всего-навсего шесть баллов, последняя удовлетворительная отметка. Ох, уж этот полковник, военный инженер Колосов, холодный человек, ни разу не улыбнувшийся на лекциях, ни разу не сказавший ни одного простого человеческого слова, молчаливый тиран, лепивший безмолвно, с каменным лицом, губительные двойки, единицы и даже уничтожающие нули! Из-за его чертовской шестерки средний балл у Александрова чуть-чуть не дотягивает до девяти, не хватает всего каких-то трех девяток. Мозговатый в арифметике товарищ Бутынский вычислил точно:

– Если ты, Александров, умудишься получить за топографическую съемку десять баллов, то первый разряд будет у тебя как в кармане. Ну-ка, напрягись, молодой обер-офицер.

Съемки происходят вокруг огромного села Всехсвятского, на его крестьянских полях, выгонах, дорогах, оврагах и рошицах. Каждое утро, часов в пять, старшие юнкера наспех пьют чай с булкой; захвативши завтрак в полевые сумки, идут партиями на места своих работ, которые будут длиться часов до семи вечера, до той поры, когда уставшие глаза начинают уже не так четко различать издали показательные приметы. Тогда время возвращаться в лагери, чтобы до обеда успеть вымыться или выкупаться. Внизу, за лагерной

линией, в крутом овраге, выстроена для юнкеров просторная и глубокая купальня, всегда доверху полная живой, бегучей ключевой водой, в которой температура никогда не подымалась выше восьми градусов. А над купальней возвышалось кирпичное здание бани, топившейся дважды в неделю. Бывало для иных юнкеров острым и жгучим наслаждением напариться в бане на полке до отказа, до красного каления, до полного изнеможения и потом лететь со всех ног из бани, чтобы с разбегу бухнуться в студеную воду купальни, сделавши сальто-мортале или нырнувши вертикально, головой вниз. Сначала являлось впечатление ожога, перерыва дыхания и мгновенного ужаса, вместе с замиранием сердца. Но вскоре тело обывало в холоде, и когда купальщики возвращались бегом в баню, то их охватывало чувство невыразимой легкости, почти невесомости во всем их существе, было такое ощущение, точно каждый мускул, каждая пора насквозь проникнута блаженной радостью, сладкой и бодрой.

Уже вечерело, когда горнист трубил сигнал к обеду:

У папеньки, у маменьки
Просил солдат говядинки.
Дай, дай, дай.

Проголодавшиеся юнкера ели обильно и всегда вкусно. В больших тяжелых оловянных ендовах служители разносили ядреный хлебный квас, который шибал в нос. После обеда полчаса свободного отдыха. Играл знаменитый училищный оркестр. Юнкера пили свой собственный чай и покупали сладости у какого-то приبلудившегося к Александровскому училищу маркитанта, который открыл в лагере лавочку и даже охотно давал в кредит до производства. Кормили конфетами (это была очередная мода) хорошенького белокурого мальчика-барабанщика, внука знаменитого барабанщика Индурского. А затем по сигналу все четыре роты выстраивались в две шеренги вдоль линейки, и начиналась перекличка.

– Такой-то! – вызывал фельдфебель.
– Я! – коротко отвечал спрошенный.
– Такой-то!
– Я!

«Как это мило и как это странно придумано господом богом, – размышлял часто во время переклички мечтательный юнкер Александров, – что ни у одного человека в мире нет тембра голоса, похожего на другой. Неужели и все на свете так же разнообразно и бесконечно неповторимо? Отчего природа не хочет знать ни прямых линий, ни геометрических фигур, ни абсолютно схожих экземпляров? Что это? Бесконечность ли творчества или урок человечеству?»

Но с особенным напряжением дожидался Александров того момента, когда в перекличке наступит очередь любимца Дрозда, портупей-юнкера Попова, обладателя чудесного низкого баритона, которым любовалось все училище.

– Портупей-юнкер Попов, – монотонно и сухо выкликает фельдфебель.
«Вот сейчас, сейчас», – бьется сердце Александрова.
– Я!

О, как этот звук безупречно полон и красиво кругл! Он нежно густ и ароматен, как сотовый мед. Его чистая и гибкая красота похожа на средний тон виолончели, взятый влюбленным смычком. Он – как дорогое старое красное вино.

И, как всегда, Александров переводит глаза вверх на темное синее небо. А там, в мировой глубине, повисла и, тихо переливаясь, дрожит теплая серебряная звездочка, от взора на которую становится радостно и щеотно в груди. Совершенно дикая мысль осеняет голову Александрова: «А что, если этот очаровательный звук и эта звездочка, похожая на непроливающуюся девичью слезу, и далекий, далекий отсюда только что повеявший, ласковый и скромный запах резеды, и все простые радости мира суть только видоизменения одной и той же божественной и бессмертной силы?»

– На молитву! Шапки долой! – командуют фельдфебеля. Четыреста молодых глоток поют «Отче наш». Какая большая и сдержанная сила в их голосах. Какое здоровье и вера в себя и в судьбу. Вспоминается Александрову тот бледный, изношенный студент, который девятого сентября, во время студенческого бунта, так злобно кричал из-за железной ограды университета на проходивших мимо юнкеров:

– Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы, пушечное мясо! Душителы свободы! Позор вам! Позор!

«Нет, не прав был этот студентишко, – думает сейчас Александров, допевая последние слова молитвы господней. – Он или глуп, или раздражен обидой, или болен, или несчастен, или просто науськан чьей-то злобной и лживой волей. А вот настанет война, и я с готовностью пойду защищать от неприятеля: и этого студента, и его жену с малыми детьми, и престарелых его папочку с мамочкой. Умереть за отечество. Какие великие, простые и трогательные слова! А смерть? Что же такое смерть, как не одно из превращений этой бесконечно непонимаемой нами силы, которая вся состоит из радости. И умереть ведь тоже будет такой радостью, как сладко без снов заснуть после трудового дня».

После молитвы юнкера расходятся. Вечер темнеет. На небо выкатился блестящий, как осколок зеркала, серп молодого месяца. Выкатился и потащил на невидимом буксире звездочку. В бараках первого (младшего) курса еще слышатся разговоры, смех, согласное пение. Но господа офицеры (старший курс) истомились за день. Руки и ноги у них точно изломаны. Александров с трудом снимает левый сапог, но правый, полуснятый, так и остается на ноге, когда усталый юнкер сразу погружается в глубокий сон без сновидений, в это подобие неизбежной и все-таки радостной смерти.

На следующий день опять вставание в пять часов утра и длинный путь до места съемки. В каждой партии пять человек, выбранных по соображениям курсового офицера, ведущего курс уже без малого два года. Курсовой четвертой роты поручик Новоселов Николай Васильевич, он же по юнкерскому прозвищу Уставчик, назначил в своих партиях лишь самых надежных юнкеров за старших, а дальнейшие роли в съемках предоставил распределить самим юнкерам. Таким образом, к великому удовольствию Александрова, на него выпала добровольная обязанность таскать на место съемки и обратно довольно тяжелый кипрегель-дальномер с треногой и стальную круглую рулетку для промеров на ровных плоскостях.

К своим обязанностям он относится с похвальным усердием и даже часто бывал полезен партии отличной зоркостью своих глаз, наблюдательностью, находчивостью и легкостью на ходу. Не очень сложную работу с кипрегелем он совершенно ясно понял в первый же день съемки. Но что упорно ему не давалось, так это вычерчивание на бумаге штрихами всех подъемов и спусков местности, всех ее оврагов и горбушек. Чем ровнее шла земля, тем тоньше и тем дальше друг от друга должны были наноситься изображающие ее штрихи. И наоборот: как только она начинала показывать уклон, штрихи теснились ближе, и карандаш вычерчивал их гуще. Здесь все дело было не в искусстве и не в таланте, а только в терпении, внимании и аккуратности. На картон старшего в партии юнкера, носившего фамилию Патер, худенького, опрятного, сухого юноши, просто любо было бы поглядеть даже человеку, ничего не понимающему в топографии. Стоило только немного прищурить глаза, и весь рельеф местности выступал с такой выпуклостью, точно он был вылеплен из гипса.

Не только этого чуда, но и отдаленного его подобия никак не мог сделать Александров. Он совсем недурно рисовал карандашом и углем, свободно писал акварелью и немножко маслом, ловко делал портреты и карикатуры, умел мило набросать пейзаж и натюрморт. Но проклятое «штрихоблудие» (как называли юнкера это занятие) окончательно не давалось ему. Просить помощи у одного из товарищей, искушенных в штрихоблудии, не позволяла своеобразная этика, установленная в училище еще с давних годов, со времен генерала Шванебаха, когда училище переживало свой золотой век. Правда, оставалась у него далекая, почти фантастическая тень надежды. В прошлом году, помнилось ему смутно, господа

офицеры, уже близкие к выпуску и потому как-то по-товарищески подобранные к старым фараонам, упоминали хорошими словами о строгом и придирчивом Уставчике. Говорили, что кое-когда Уставчик в случаях, подобных случаю Александрова, тайком перештриховывал поданный ему картон с плохой съемкой. «Был он, – говорили обер-офицеры, – искусным штрихоблудом и, вопреки своей крикливости, добрейшим человеком».

«Да. Хорошо было моим предшественникам, – уныло размышлял Александров, кусая ногти. – Все они небось были трынчики, строевики, послушные ловкачи, знавшие все военные уставы назубок, не хуже чем „Отче наш“. Но за мною – о господи! – за мною-то столько грехов и прорех! И сколько раз этот самый Николай Васильевич Новоселов сажал меня под арест, наряжал на лишнее дневальство и наказывал без отпуска?

И какой неугомонный черт дергал меня на возражения курсовому офицеру? Ведь известно же всему миру еще с библейских времен, что всякое начальство именно возражений не терпит, не любит, не понимает и не переносит». Правда, порою от возражения никак нельзя удержаться. Ну вот, например, экзамен по гимнастике. Прыжки с трамплина. Препятствие всего с пол-аршина высоты. Но изволь его брать согласно уставу, где написано о приуготовительных к прыжку упражнениях. Требуется для этого сделать небольшой строевой разбег, оттолкнуться правой ногой от трамплина и лететь в воздухе, имея левую ногу и обе руки вытянутыми прямо и параллельно земле. А после прыжка, достигнув земли, надо опуститься на нее на носках, каблуками вместе, коленями врозь, а руками подбоченившись в бедра.

– Господин поручик! – восклицает с негодованием Александров. – Да это же черепаший жеманный прыжок. Позвольте мне прыгнуть свободно, без всяких правил, и я легко возьму препятствие в полтора моих роста. Сажень без малого.

Но в ответ сухая и суровая отповедь:

– Прошу без всяких возражений. Исполняйте, как показано в уставе. Устав для вас закон. Устав для вас, как заповедь. И, кроме того, дневальство без очереди за возражение начальству. Фельдфебель! Запишите.

«Нет, не выйти мне по первому разряду, – мрачно решает Александров. – Никогда мне не простит моих дурацких выходов Уставчик и никогда не засияет милосердием его черствая душа. Ну и что ж? Ничего. Выйду в самый захолустный, в самый закатальский полк или в гарнизонный безымянный батальон. Но ведь я еще молод. Приналягу и выдержу экзамен в Академию генерального штаба. А то начнется война. Долго ли храброму отличиться? Получу Георгия, двух Георгиев, золотое оружие и, чин за чином, вернусь с войны полковником – так этот самый Уставчик будет мне козырять и тянуться передо мною в струнку. А я ему:

– Капитан! Темляк при шашке у вас криво подвязан. Делаю вам замечание, о чем извольте доложить вашему непосредственному начальству. Можете идти...»

Какая сладкая месть!

Это жаркое, томительное лето, последнее лето в казенных учебных заведениях, было совсем неудачно для Александрова. Какая-то роковая полоса невезенья и неприятностей. Недаром же сумма цифр, входящих в этот год, составляла число двадцать шесть, то есть два раза по тринадцати. А тут еще новое несчастье...

Съемка уже близилась к окончанию. Работы на всехсвятских полях оставалось не больше чем дня на три, на четыре.

В одну из суббот партия Александрова, как и всегда, зашабашила несколько раньше, чем обыкновенно, и, собрав инструменты, направилась обратно в лагерь. Но посередине пути Александров вдруг забеспокоился и стал тревожно хлопать себя по всем карманам.

– Вы что? – спросил Патер.

– Да вот не знаю, куда девал измерительную рулетку. Ищу и не могу найти.

– А может, вы оставили ее на месте съемки?

– Пожалуй, что и так. Ну-ка, господа офицеры, возьмите у меня кипрегель с треногой. А я мигом смотаюсь туда и назад.

Он быстро пустился по пройденной дороге, меняя для отдыха резвый бег частым широким шагом.

Вдруг женский грудной голос окликнул его из ржи, стоявшей золотой стеной за дрожкой:

– Эй, юнкарь, юнкарь! погоди, сделай милость!

Он остановился, часто дыша, и обернулся. С лица его струились капли пота.

На меже, посреди буйной ржи, окруженная связанными снопами, сидела крестьянская девушка из Всехсвятского, синеглазая, с повитой вокруг головы светло-русой, точно серебристой косой.

– Ты это меня, что ли, красавица?

– Тебя, тебя, красавец. Ты не потерял ли чего-нибудь?

– И то – потерял. Сумочку такую, круглую. А в ней железная лента, чтобы мерять землю.

– Ну вот, счастье твое, что я подняла. Ты ее вон где обронил, на самой дороге. А народ у нас, знаешь сам, какой вороватый: что нужно, что не нужно – все норовят в карман запихать. Да ты присядь-ка на минуточку, передохни. Ишь как зарьялся, бежавши. Вещица-то небось казенная?

– То-то и есть что казенная, душенька.

– Ишь ты! Словечко какое подобрал: душенька! А меня и впрямь Дуняшей зовут. Душкой. Да ты сядь, юнкарь, сядь. В ногах правды нет. А я тебя квасом угощу, нашим домашним, суровым.

Она ласковой, но сильной рукой неожиданно дернула Александрова за край его белой каламянковой рубахи. Юнкер, внезапно потеряв равновесие, невольно упал на девушку, схватив ее одной рукой за грудь, а другой за твердую гладкую ляжку. Она громко засмеялась, оскалив большие прекрасные зубы.

– Нет, юнкарь, ты играть – играй, а чего не надо – не трогай. Молод еще.

– Да я, ей-богу, нечаянно!

– Хорошо, хорошо! Знаем мы вас, солдат, как вы нечаянно к девкам под подол лазаете.

– Да я, право же...

– А кругом, куда ни погляди, – все народишко бегают. Неровен час, увидят и пойдут напраслину плести. Долго ли девку ославить и осрамить? Вон, погляди-ко, какой-то мужик с коробом сюда тащится. Ты уж, милый, лучше вылезай-ко!

Александров обернулся через плечо и увидел шагах в ста от себя приближающегося Апостола. Так сиздавна называли юнкера тех разносчиков, которые летом бродили вокруг всех лагерей, продавая конфеты, пирожные, фрукты, колбасы, сыр, бутерброды, лимонад, боярский квас, а тайком, из-под полы, контрабандою, также пиво и водчонку. Быстро выскочив на дорогу, юнкер стал делать Апостолу призывные знаки. Тот увидел и с привычной поспешностью ускорил шаг.

– Ну и к чему ты позвал его? – с упреком сказала Дуняша, укрываясь в густой ржи. – Очень он нам нужен!

– Подожди минутку. Сейчас увидишь. Да ты не бойся, он не из ваших, он – чужой.

– Чужой-то – чужой, – пропела девушка, показывая из золотых снопов смеющийся синий глаз. – А все-таки...

Апостол подошел и стал со щеголеватой ловкостью торгового москвича разбирать свою походную лавочку.

– Чем могу служить господину обер-офицеру?

– А вот дай-ка нам два стаканчика, да бутылочку лимонада, да пару бутербродов с ветчиной и еще... – Александров слегка замялся.

– Червячка изволите заморить? Сей минут-с! Готово-с.

– Вот именно. Два шкалика.

Всехсвятская красавица сначала пожеманилась: да не надо, да зачем мне, да кушайте сами. Но, однако, после того как она убедилась, что ланинский шипучий лимонад куда

вкуснее и забористее ее квасца-суровца, простой воды, настоянной на ржаных корках, то уговорить ее пригубить расейской водочки было уж не так трудно и мешкотно. Она пила ее, как пьют все русские крестьянки: мелкими глотками, гримасничая, как будто после принятия отвратительной горечи. Но последний глоток она опрокинула в рот совсем молодцом. Утерла губы рукавом и сказала жалобно:

– Ну и крепка же она, матушка! Как ее бедные солдаты пьют?

Пережевывая своими белыми блестящими зубами ветчину на помасленном белом хлебе, она охотно и весело разговаривалась:

– Вот ты – хороший юнкарь, дай бог тебе доброго здоровья и спасибо на хлебе, на соли, – кланялась она головой, – а то ведь есть и из вашей братии, из юнкарей, такие охальники, что не приведи господи. Вот в прошлом-то годе какую они с нами издевку сделали; по сию пору вспомнить совестно. Стояли они здесь, неподалечку, со своей стрельбией и все что-то меряли, все что-то в книжки записывали. А мы, девки да бабы, все на их смотрели и дивовались. А один-то из юнкарей возьми да и крикни: «Идите к нам сюда, девочки да бабочки! Посмотрите-ка в нашу подозрительную трубку». Ужаси, как занятно. Ну мы, конечно, бабы глупые, вроде как индюшки: так одна за другой и потянулись. В трубке-то стеклышко малое; так, значит, в это стеклышко надо одним глазом глядеть. И что ты думаешь! Чудо-то какое! Видать очень хорошо, даже, можно сказать, отлично. Но только все, милый ты мой, показывается не прямо, а вверх ногами, вниз головой. Вот так штука! Смотрели мы на нашу сельскую церковь во имя всех святых, и – поверишь ли? – видим: стоит она кумполом вниз, папертью кверху. На выставку поглядели – опять вверх тормашками. Потом юнкарь стекляшку на наше стадо навел, дал мне глядеть, и что ж ты думаешь?.. Все коровы кверху ногами идут, и даже видно, как наш общественный бык Афанасий, ярославской породы, ногами перебирает, а головой-то вниз идет. Тут тетка Авдотья Бильдина, тезка моя, баба уже в годах, закричала: «Побежим, девоньки, домой! Долго ли тут до греха?» Ну, мы и прыснули утекать. А юнкря вослед нам рыгочат, как жеребцы стоялые. Орут: «Бабочки, девочки, берегитесь! Все вы, как одна, вверх ногами идете, и подолы у вас задранные...» И уж так мы тогда всполошились, что и сказать нельзя! Кто юбками давай завешиваться, кто на землю сел, все давай визжать со стыда. А юнкря со смеха помирают... Навеки в памяти у нас остались их стекляшки проклятые.

Слушая Дуняшу, Александров с некоторой тревогой смотрел на Апостола, который, спешно укладывая свой короб, все чаще и беспокойнее озирался назад, через плечо, а потом, не сказав ни слова, вдруг пустился большими шагами уходить в сторону. Юнкер обернулся назад и на минуту остался с разинутым ртом. Невдалеке, взрывая дорожную коричневую пыль, легким галопом скакал на своей белой арабской кобыле Кабардинке батальонный командир училища, полковник Артабалевский, по прозвищу Берди-Паша. Вскоре Александров услышал его окрик: – Юнкер, ко мне! Сюда, юнкер!

Александров поспешной рысью побежал ему навстречу и остановился как раз в ту минуту, когда Берди-Паша, легко соскочив со вспененной лошади, брал ее под уздцы.

– Эт-то что за безобразие? – завопил Артабалевский пронзительно. – Это у вас называется топографией? Это, по-вашему, военная служба? Так ли подобает вести себя юнкеру Третьего Александровского училища? Тыфу! Валяться с девками (он понюхал воздух), пить водку! Какая грязь! Идите же немедленно явитесь вашему ротному командиру и доложите ему, что за самовольную отлучку и все прочее я подвергаю вас пяти суткам ареста, а за пьянство лишаю вас отпусков вплоть до самого дня производства в офицеры. Марш!

– Слушаю, ваше высокоблагородие! – лихо ответил Александров, скрывая горечь и досаду.

Глава XXVIII. Последние дни

Неудобно, невесело и досадно влеклись эти пять дней сидения под арестом в

карцерном бараке, в ветхом, заброшенном деревянном узком здании, обросшем снаружи высокой, выше человеческого роста, крапивой и гигантскими лопухами. Зеленоватый дрожащий свет скудно и мутно падал сюда сквозь потолочные окна, забранные железными ржавыми решетками. Особенно неприятно было то, что сидение под арестом сопровождалось исполнением служебных обязанностей. Три-четыре раза в день нужно было выходить из карцера: на топографические работы, на ротные учения, на стрельбу, на чистку оружия, на разборку и сборку всех многочисленных частей скорострельной пехотной винтовки системы Бердана, со скользящим затвором номер второй, на долбление военных уставов – и потом возвращаться обратно под замок. Эта беготня точно умножала тягость заключения.

До прибытия Александрова в карцер там уже сидело двое господ обер-офицеров, два юнкера из роты «жеребцов» его величества: Бауман и Брюнелли, признанные давно всем училищем как первые красавцы. Бауман – рыжеволосый, белолицый, голубоглазый, потомок тевтонов; Брюнелли – полуитальянец, полурусский, полукавказец, со смугловатым, правильным, строгим и гордым лицом. Оба они были высоки и стройны. Когда их видели стоящими рядом, то они действительно производили впечатление сильного, эффектного контраста. Кстати – они были очень дружны друг с другом.

Известно давно, что у всех арестантов в мире и во все века бывало два непобедимых влечения. Первое: войти во что бы то ни стало в сношение с соседями, друзьями по несчастью; и второе – оставить на стенах тюрьмы память о своем заключении. И Александров, послушный общему закону, тщательно вырезал перочинным ножиком на деревянной стене: «26 июня 1889 г. здесь сидел обер-офицер Александров, по злой воле дикого Берди-Паши, чья глупость – достояние истории».

Арестованные занимали отдельные камеры, которые днем не запирались и не мешали юнкерам ходить друг к другу в гости. Соседи первые рассказали Александрову о своих злоключениях, приведших их в карцер.

В прошлое воскресенье, взяв отпуск, пошли они в город к своим портным, примерить заказанную офицерскую обмундировку. Но черт их дернул идти обратно в лагери не кратчайшим привычным путем, а через Петровский парк, самое шикарное дачное место Москвы!

У них, говорили они, не было никаких преступных, заранее обдуманных намерений. Была только мысль – во что бы то ни стало успеть прийти в лагери к восьми с половиною часам вечера и в срок явиться дежурному офицеру. Но разве виноваты они были в том, что на балконе чудесной новой дачи, построенной в пышном псевдорусском стиле, вдруг показались две очаровательные женщины, по-летнему, легко и сквозно одетые. Одна из них, знаменитая в Москве кафешантанная певица, крикнула:

– Бауман, Бауман! Иди к нам скорее. И своего товарища тащи. Да ты не бойся: всего на две минуты. А потом мы вас на лошадях отвезем. Будьте спокойны. Только один флакон раздавим, и конец.

Юнкера вошли. Обширная дача была полна гостями и шумом: сумские драгуны, актеры, газетные издатели и хроникеры, трое владельцев скаковых конюшен, только что окончившие курс катковские лицеисты, цыгане и цыганки с гитарами, известный профессор Московского университета, знаменитый врач по женским болезням, обожаемый всю купеческою Москвою, удачливый театральный антрепренер, в шикарной, якобы мужицкой поддевке, и множество другого народа. Шла великая московская пьянственная неразбериха. Давно уже перешли на шампанское вино, которым были залиты все скатерти. Сумцы выпили за александровцев, александровцы – за катковский лицей. Потом поднимались тосты за всех военных и штатских, за великую Россию, за победоносную армию, за русское искусство и художество.

Вскоре густой веселый туман обволок души, сознание и члены юнкеров. Они еще помнили кое-как мерное, упругое и усыпляющее качание парных колясок на резиновых шинах. Остальное уплыло из памяти. Как сквозь сон, им мерещился приезд прямо на

батальонную линию и сухой голос Хухрика:

– Конечно, милостивые государины, патриотизм вещь всегда ценная и возвышенная, и ваши чувства, барыни, достойны всякого почтения. Но извините: закон есть закон, и устав есть устав. И потому прошу вас удалиться с лагерной линейки.

Рассказал и Александров свое маленькое приключение с апостольским вином и со всехсвятской Дуняшей. Красавцы выслушали его рассказ без особой внимательности, добродушно.

– Какой фатум, – сказал Брюнелли. – Все мы пали жертвами и Вакха и Венеры.

Но потом и разговаривать стало не о чем. Приглядывался к ним обоим Александров, часто думал:

«Ничего между нами нет общего. Ну, скажем, они выше меня ростом, даже красивее. Может быть, у них знатная или богатая родня?.. Но путь их жизней я вижу, точно на ладони, и неизменно. Бауман будет в своем полку сначала батальонным, потом полковым адъютантом. Затем он удачно или выгодно женится на красивой остзейской барышне и поступит в жандармы или в пограничную стражу. Что же касается Брюнелли – такого серьезного, – то жизненный путь его еще яснее. Академия генерального штаба или юридическая. Длинный, упорный и верный путь к почетной, независимой и обеспеченной будущности. И нет никаких сомнений в том, что в маститые годы они обое станут генералами с красными широкими лампасами и с красными подкладками пальто. Вот и вся их жизнь. И больше нет ничего. И дай им бог этого счастья».

Нет! Жизнь Александрова пройдет ярче, красивее, богаче, разнообразнее и пестрее. Он будет великим военным героем России. А может быть, он будет знаменитым живописцем, любимым современным писателем, идолом молодежи, исследователем Памира, восходящим на вершины Гималайских недоступных гор. Или первоклассным актером! Имя его будет у всех на устах. Его портреты украсят все журналы. «Кто этот загорелый суровый человек, которому все кланяются?» – «Ах, это известный Александров. Не правда ли – какое мужественное лицо?»

Добрые отношения между Александровым и его собратьями по заключению тихо, беззлобно потухали с каждым днем, пока незаметно не исчезли совсем.

В ночь с четвертого на пятый день ареста тяжелая, знойная, напряженная погода наконец разрядилась. Весь день был точно угарный. Губы ежеминутно сохли от недостатка свежего воздуха. Небо стало грузным, темным, неподвижным и угрожающе сонным. Дышать становилось все труднее. Изнуряющий липкий пот выступал на шее, на лице, на всем теле. Только вечером, когда небо, воздух и земля так густо почернели, что их нельзя стало различать глазом, заворчали первые глухие отдаленные рычание грома. А потом, как это всегда бывает в сильные грозы, – наступила тяжелая, глубокая тишина; в камере сухо запахло так, как пахнут два кремня, столкнувшиеся при сильном ударе, и вдруг ярко-голубая ослепительная молния, вместе со страшным раскатом грома, ворвалась в карцер сквозь железные решетки, и тотчас же зазвенели и задребезжали разбитые карцерные окна, падая на глиняный пол. Начиналась такая дьявольская гроза, подобной которой никогда, ни раньше, ни потом, не видывал Александров: необычайной силы гроза, оставшаяся на долго лет в памяти коренных москвичей, потому что она снесла наголо Анненгофскую Лефортовскую рошу и разрушила вдребезги более сотни московских деревянных домишек. Она не прекращалась до той поры, пока не забрезжил ранний сереющий рассвет.

Ветхий потолок и дырявые стены карцера в обилии пропускали дождевую воду. Александров лег спать, закутавшись в байковое одеяло, а проснулся при первых золотых лучах солнца весь мокрый и дрожащий от холода, но все-таки здоровый, бодрый и веселый. Отогрелся он окончательно лишь после того, как сторожевой солдат принес ему в медном чайнике горячего и сладкого чая с булкой, после которых еще сильнее засияло прекрасное, чистое, точно вымытое небо и еще сладостнее стало греть горячее восхитительное солнце.

А час спустя он услышал шлепанье сапог по лужам и милый, знакомый голос, призывавший его снизу.

– Александров! Александров! – кричал под окном верный дружок Венсан. – Высуньте, насколько можно, руку из решетки. Я сижу на дереве. И, кстати, сердечно вас поздравляю.

– С чем? С окончанием ареста?

– Нет. Сейчас вы увидите сами. Но каким молодцом оказался наш Уставчик! Однако живее! Здесь где-то поблизости слоняется зловещий Берди-Паша. Ну, тяните скорее руку! Так!

Венсан, прыгнув, густо шлепнулся в грязь. В руке Александра остался напечатанный на множителе свертков казенной бумаги, очевидно купленный или украденный из походной батальонной канцелярии. В нем, в нисходящем порядке, были оттиснуты все имена выпускных юнкеров, от фельдфебелей и портупей-юнкеров до простых рядовых, с приложением их средних баллов по военной науке. Со странным двойным чувством гордой радости и унижения увидел Александр свой номер, ровно сотый, и как раз последний; последняя девятка, дающая право на первый разряд. Ниже шло еще сто номеров для злосчастных юнкеров второго разряда.

«Но ведь это все же только подачка, только жалкая милостыня, брошенная мне Уставчиком», – горестно подумал Александр и покрутил головой.

Через дней пять-шесть пришли из петербургского главного штаба списки имеющихся в разных полках офицерских вакансий. Они тотчас же были переписаны в канцелярии и розданы на руки юнкерам. Всего только три дня было дано господам обер-офицерам на ознакомление с этими листами и на размышления о выборе полка. И нельзя сказать, чтобы этот выбор был очень легким. С ним связывалось много условий: как необыкновенно важных, так и вздорных, совсем пустяковых, и разобраться в них было мудрено. Какое главное? Какое третъестепенное?

Хотелось бы выйти в полк, стоящий поблизости к родному дому. Теплый уют и все прелести домашнего гнезда еще сильно говорили в сердцах этих юных двадцатилетних воинов.

Хорошо было бы выбрать полк, стоящий в губернском городе или, по крайней мере, в большом и богатом уездном, где хорошее общество, красивые женщины, знакомства, балы, охота и мало ли чего еще из земных благ.

Пленяла воображение и относительная близость к одной из столиц: особенно москвичей удручала мысль расстаться надолго с великим княжеством Московским, с его семью холмами, с сорока сороками церквей, с Кремлем и Москва-рекою. Со всем крепко устоявшимся свободным, милым и густым московским бытом.

Но такие счастливые вакансии бывали редкостью. В гвардейские и гренадерские части попадали лишь избранники, и во всяком случае до номера сотого должны были дойти, конечно, славные боевые полки – но далеко не блестящие, хорошо еще, что не резервные батальоны, у которых даже нет своих почетных наименований, а только цифры: 38-й пехотный резервный батальон, 53-й, 74-й, 99-й... 113-й и так далее.

Но были и другие соблазны, другие просторы для фантазии молодых душ, всегда готовых мечтать об экзотической жизни, о неведомых окраинах огромной империи, о новых людях и народах, о необычайных приключениях на долгих и трудных путях... Тянул к себе юг: служба на Кавказе, в Самарканде, в Туркестане, на границах с Персией, Афганистаном и Бухарой, на подступах к великой, загадочной, пышной, сказочной Азии. Нельзя сказать, чтобы выпускные юнкера особенно хорошо знали географию. Ведение ее остановилось на шестом классе кадетского корпуса и с этой поры не подновлялось. Однако по смутным воспоминаниям соображали они, что Крым – это земной рай, где растет виноград и зреют превкусные крымские яблоки; что красоты Кавказа живописны, величественны и никем не описуемы, кроме Лермонтова; что Подольская губерния лежит на одной широте с Парижем, и оттого в ней редко выпадает снег, и летом произрастают персики и абрикосы; что Полесье славится своими зубрами, а его обитатели колтунами, и так далее в этом же роде. Большое значение имела краткая военная история полка, его бывшие доблести и заслуженные им отличия и награды. Не малую роль играли в выборе полка его петлицы – красные, синие,

белые или черные: кому что шло к лицу. Случалось, – говорили прежние господа обер-офицеры, – что глубокий второразрядник сокрушенно махал рукой и заявлял: «Мне все равно. Пишите меня в ту часть, где красные петлицы».

Почти в таком же настроении был и Александров. С недавнего времени он вообще стал склонен к философии. Он размышлял: «Сто полков будут мне даны на выбор, и из них я должен буду остановиться на одном. Разве это не самый азартный вид лотереи, где я играю на всю собственную жизнь? Одному только богу ведомо, что ждет меня в первом, во втором, в тридцатом, в семьдесят четвертом или в девяносто девятом и сотом полку. Совершенно неизвестно, где меня поджидает спокойная карьера исполнительного офицера пехотной армии, где бурная и нелепая жизнь пьяницы и скандалиста, где удачный экзамен в Академию и большая судьба. Где богатая женитьба на любимой прекрасной девушке, где холостая, прокуренная жизнь одинокого армейца, где несчастливая дуэль, где принудительный выход из полка по решению офицерского суда чести, где великие героические подвиги на театре военных действий. Все покрыто непроницаемой тьмой, и все-таки тяни свой жребий».

И кто же возьмет на себя дерзость разрешать, какой полк хорош и какой плох, который лучше и который хуже? И невольно приходит на память Александрову любимая октава из пушкинского «Домика в Коломне»:

У нас война! Красавцы молодые,
Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые,
Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк.
Все с ревом так и лезут в бой кровавый,
Ширванский полк могу сравнить с октавой.

Да, конечно же, нет в русской армии ни одного порочного полка. Есть, может быть, бедные, загнанные в непроходимую глушь, забытые высшим начальством, огрубевшие полки. Но все они не ниже прославленной гвардии. Да, наконец... и тут перед Александровым встает давно где-то вычитанный древний греческий анекдот: «Желая посрамить одного из знаменитых мудрецов, хозяева на званом обеде посадили его на самое отдаленное и неудобное место. Но мудрец сказал с кроткой улыбкой: „Вот средство сделать последнее место первым“».

Настал наконец и торжественный день выбора вакансий.

В один из четвергов, после завтрака, дежурные юнкера побежали по своим баракам, выкрикивая словесное приказание батальонного командира:

– Всем юнкерам второго курса собраться немедленно на обеденной площадке! Форма одежды обыкновенная. (Всем людям военного дела известно, что обыкновенная форма одежды всегда сопутствует случаям необыкновенным.) Взять с собою листки с вакансиями! Живо, живо, господа обер-офицеры!

Служители уже расставляли на площадке обеденные столы и табуретки. Никогда еще юнкера так охотно и быстро не собирались на призыв начальства, как в этот раз. Через три минуты они уже стояли навтыжку у своих столов, и все двести голов были с нетерпением устремлены в ту сторону, с которой должен был показаться полковник Артабалеvский.

Он скоро появился в сопровождении ротных командиров и курсовых офицеров.

– Садитесь! – приказал он как будто угрожающим голосом и стал перебирать списки. Потом откашлялся и продолжал: – Вот тут перед вами лежат двести десять вакансий на двести юнкеров. Буду вызывать вас поочередно, по мере оказанных вами успехов в продолжение двухлетнего обучения в училище. Рекомендую избранную часть называть громко и разборчиво, без всяких замедлений и переспросов. Времени у вас было вполне достаточно для обдумывания. Итак, номер первый: фельдфебель первой роты, юнкер

Куманин!

Ловко и непринужденно встал высокий красавец Куманин.

– Имени светлейшего князя Суворова гренадерский Фанагорийский полк.

Артабалеvский громко повторил название части и что-то занес пером на большом листе. Александров тихо рассмеялся. «Вероятно, никто не догадывался, что Берди-Паша умеет писать», – подумал он.

– Фельдфебель четвертой роты, юнкер Тарбеев!

– В лейб-гвардии Московский полк.

– Фельдфебель второй роты, юнкер Пожидаев!

– В двенадцатую артиллерийскую бригаду на сослужение с отцом.

– Портупей-юнкер, князь Вачнадзе!

– На сослужение с братом в Эриванский гренадерский полк.

Так прошли перед выпускными юнкерами все фельдфебели, портупей-юнкера и юнкера с высокими отметками. Соблазнительные полки с хорошими стоянками быстро разбирались. Для второразрядных оставались только далекие места в провинциальных уездных городах, имена которых юнкера слышали первый раз в своей жизни.

Внимание Александрова давно устало и рассеялось. Он машинально зачеркивал выходящие полки и в то же время вел своеобразную детскую игру: каждый раз, как вставал и называл свой полк юнкер, он по его лицу, по его голосу, по названию полка старался представить себе – какая судьба, какие перемены и приключения ждут в будущем этого юнкера? И когда Александров услышал свою фамилию, громко названную Берди-Пашой, то он вздрогнул и совсем растерялся. Беспомощно водя глазами по листу, исчерченному синим и красным карандашом, он никак не мог остановиться на одном из намеченных полков.

Артабалеvский крикнул своим металлическим «первым»:

– Чего молчать! Чего мечтать? Проснитесь, юнкер!

Тогда Александров ткнул наудачу пальцем в лист. Вышел полк совсем ему неведомый и маленький городишко, никогда им не слыханный. И, откашлявшись, он громко крикнул:

– Ундомский пехотный полк!

Город Великие грязи. И опять подумал про себя: «Вот средство сделать последнее место – первым».

Раздача вакансий окончилась. Берди-Паша сказал поучительное слово:

– Однако не воображайте, что вы уже в самом деле – господа офицеры. Этого воображать отнюдь не следует. Вы суть только юнкера. Пока выбранные вами вакансии дойдут до Санкт-Петербурга, и пока великому государю нашему, его императорскому величеству императору Александру Третьему не благоугодно будет собственноручно их утвердить, и пока, наконец, высочайшее его соизволение не дойдет до Москвы – вы будете нести военную службу со всеми ее строжайшими обязанностями неукоснительно и в двойном размере. Ибо многому вы еще не доучились и ко многому не привыкли. Итак, сейчас же построиться на передней линейке для батальонного учения!

О! Злобный азиат!

Глава XXIX. Травля

Двести вакансий в разные полки разобраны.

Военные портные уже уведомлены, какого цвета надо пришивать петлички к заказанным мундирам и какого цвета кантики: белого, красного, синего или черного.

Фамилии будущих господ офицеров и названия выбранных ими частей уже летят, летят теперь по почте в Петербург, в самое главное отделение генерального штаба, заведующее офицерскими производствами. В этом могущественном и таинственном отделении теперь постепенно стекаются все взятые вакансии во всех российских военных училищах, из которых иные находятся страшно далеко от Питера, на самом краю необъемной Российской империи.

И вот наконец все вакансии собраны и проверены. Тогда их поручают десяти искуснейшим во всей России писарям, из которых каждый состоит в капитанском чине, и они на ватманской слоновой бумаге золотыми перьями составляют список юнкеров, имеющих быть произведенными в первый офицерский чин и зачисленными на доблестное служение в одном из славных победоносных полков великой русской армии.

А теперь уже выступает на сцену не кто иной, как военный министр. В день, заранее ему назначенный, он с этим драгоценным списком едет во дворец к государю императору, который уже дожидается его.

Конечно, русскому царю, повелевающему шестой частью земного шара и непрестанно пекущемуся о благе пятисот миллионов подданных, просто физически невозможно было бы подписывать производство каждому из многих тысяч офицеров. Нет, он только внимательно и быстро проглядывает бесконечно длинный ряд имен. Уста его улыбаются светло и печально.

— Какая молодежь, — беззвучно шепчет он, — какая чудесная, чистая, славная русская молодежь! И каждый из этих мальчиков готов с радостью пролить всю свою кровь за наше отечество и за меня!

Он со вздохом подписывает свое имя и говорит министру:

— Передайте им всем мои поздравления с производством и мою уверенность в их беспорочной будущей службе.

Очень долги пути государственных бумаг!

Старшие юнкера изводятся от нетерпения — они уже перестали называть себя господами обер-офицерами, иначе рядом с выдуманным званием не так будет сладко сознавать себя настоящим подпоручиком, его благородием и, по праву, господином обер-офицером.

Теперь все они кажутся совсем взрослыми, даже как будто пожилыми. Они стали осторожнее в движениях и умереннее в жестах. У них такой вид, точно каждый боится расплескать чашу, до краев полную драгоценной влагой. Они как-то любовно, по-братски присматривают друг за другом. Стоит самая африканская жарница. Клокочущее нетерпение не знает, во что вылиться. Нервы натянуты до предела. Не дай бог, кто-нибудь под этими давлениями взорвется и сделает такой непозволительный грубый и глупый поступок, который повлечет за собою лишение офицерского чина. Что тогда делать? Скрыть невозможно и нельзя. Отдать в солдаты? Выгнать из училища? Но как же быть, если события так повернутся, что наказанного в Москве государь только что произвел в офицеры в Петербурге? Телеграфировать на высочайшее имя для осведомления императора? Но какое огорчение нанесет это обожаемому монарху! Какое несмываемое пятно для славного, любимого, дорогого Александровского училища! Ротным командирам и курсовым офицерам известно это волнение молодых сердец, и они начинают чуть-чуть ослаблять суровые требования воинской дисциплины и тяжкие, в жару просто непереносимые трудности строевых учений. Выпускные юнкера в свою очередь чувствуют эти поблажки и впадают в легкую фамильярность с начальством, в ленцу и в небрежность.

На полевом учении, в рассыпном строю, поручик Новоселов (он же Уставчик) командует:

— Перестать стрелять, встать — направление на мельницу. Бегом!

А кто-нибудь из выпускных лениво говорит:

— Зачем бегать, Николай Васильевич? Жара адова. Полежимте-ка лучше.

Уставчик топчет ногами и слабо кричит:

— Вставать-с, в карцер посажу-с!

Выпускной смягчается:

— Да уж, пожалуй, пойдем, Николай Васильевич. Ведь мы вас так любим, вы такой добрый.

— Молчать-с! Перебежка частями!

Или иногда говорили Дрозду, томно разомлевшему от зноя:

– Господин капитан, позвольте рассыпать цепью по направлению на вон ту девчонку в красном платке.

– Э-кобели! – ворчал Дрозд и вдруг властно вскакивал. – Встать! Бежать на третью роту! Да бежать не как рязанские бабы бегают, а по-юнкерски! Эй, ходу, а то до вечера проманежу!

Этот странный Дрозд, то мгновенно вспыльчивый, то вдруг умно и великодушно заботливый, однажды чрезвычайно удивил и умилил Александрова. Проходя вдоль лагеря, он увидел его лежащим, распластав широко ноги и руки, в тени большой березы и остановился над ним. Александров с привычной ловкостью и быстротой вскочил, встряхнул шапку и сделал под козырек.

– Опустите руку, – сказал Дрозд. Поглядел долгим ироническим взглядом на юнкера и ни с того ни с сего спросил: – А ведь небось ужасно хочется хоть на минутку поехать в город, к портному, и примерить офицерскую форму?

– Так точно, господин капитан, – с глубоким вздохом сознался Александров. – Ужасно, невероятно хочется. Да ведь я наказан, без отпуска до самого производства.

– Да, плохое твое дело. Командир батальона ничего не прощает и никогда не забывает. Он воин серьезный.

– Так точно, господин капитан. Серьезнее на свете нет.

– Н-да, плохое ваше дело: и хочется, и колется, и маменька не велит. Вполне понимаю ваше горе...

– Покорно благодарю, господин капитан.

– А главное, – продолжал Дрозд с лицемерным сожалением, – главное, что есть же на свете такие отчаянные сорванцы, неслухи и негодяи, которые в вашем положении, никого не спрашивая и не предупреждая, убегают из лагеря самовольно, пробудут у портного полчаса-час и опрометью бегут назад, в лагерь. Конечно, умные, примерные дети таких противозаконных вещей не делают. Сами подумайте: самовольная отлучка – это же пахнет дисциплинарным преступлением, за это по головке в армии не гладят.

– Так точно, господин капитан.

Оба собеседника замолкают и молчат минуты три-четыре. Вдруг Дрозд загадочно фыркает и презрительно восклицает:

– Ну и бревно же!

– Какое бревно? – с недоумением спрашивает Александров.

– А такое, – равнодушно отвечает Дрозд и медленно отходит от юнкера.

Александров растерян. Кажется ему, что какой-то темный намек сквозил в небрежном разговоре Дрозда, но как его понять? Он идет в барак, отыскивает в нем Жданова, замечательного разгадчика всех начальственных каверз и закавык, и передает ему всю свою странную болтовню с Дроздом. Жданов саркастически улыбается:

– Бревно – это, конечно, ты, мой красавец. Разве ты сразу не мог понять, что сострадательный Дрозд окольным путем тебе советует сделать алегро удирато? То есть убежать самоволкой в город? Конечно, он яснее высказаться не мог и не смел, ибо он все-таки твой прямой начальник. Но, ей-богу, он все-таки отменный парень. А тебе остается только одно – завтра отпуск, и ты без всяких размышлений наденешь на себя мундир и скорым шагом отправишься к своему портному; старайся не терять времени понапрасну. Уходи в толпе и приди в толпе, чтобы не быть ни для кого заметным. Если хочешь, я пойду впереди тебя наблюдательным дозором.

Так Александров на другой день и сделал: ловко втиснулся в густую массу отпускных юнкеров и благополучно выбрался на Ходынское поле. Там он уже был на свободе и крылатым шагом дошел до Тверской-Ямской, до того дома, где красовалась золотая вывеска: «Сур. Военный портной». И правда, риск самовольного побега был ничтожен в сравнении с наслаждениями, ожидавшими Александрова. Старый портной елозил вокруг него, обтягивая материю и пестря ее портновским мелком. В трех зеркалах бесчисленно отражалась его новая для самого себя фигура, и все ему хотелось петь на мотив из «Фауста»: «Александров!

Это не ты! Отвечай, отвечай, отвечай мне поскорее!»

Он примерил массу вещей: мундир, сюртук, домашнюю тужурку, два кителя из чертовой кожи, брюки бальные и брюки походные. Он с удовольствием созерцал себя, многократного, в погонах и эполетах, а старик портной не уставал вслух восхищаться стройностью его фигуры и мужественностью осанки.

На обратном пути он хотел было сделать маленький крюк, чтобы забежать в Екатерининский институт и справиться у Порфирия о том, как поживает Зиночка Бельшева, но вдруг почувствовал, что у него не хватит духа. В лагерь он пришел, когда уже начинало темнеть. Быстрым катышком свалился он в глубь оврага, где протекала холодная быстрая речонка, спешно переоделся в заранее спрятанную каламянковую рубашку и вышел наверх. Первый, кого он увидел, был Дрозд, прогуливавшийся по плацу над купальней, заложивши руки за спину.

– Как поживаете, господин обер-офицер? – спросил Дрозд лениво.

– Покорно благодарю, господин капитан, очень хорошо! – воскликнул Александров, блестя глазами.

Так успели за двухлетнее знакомство и за лагерную страду опроститься и очеловечиться отношения между юнкерами и офицерами.

Только три человека из всего начальственного состава не только не допускали таких невинных послаблений, но злились сильнее с каждым днем, подобно тому как мухи становятся свирепее с приближением осени. Эти три гонителя были: Хухрик, Пуп и Берди-Паша, по-настоящему – командир батальона, полковник Артабалевский.

Первые двое были, пожалуй, уж не так зловредны и безжалостно строги, чтобы питать к ним лютую вражду, ненависть и кровавую месть. Но они умели держать молодежь в постоянном состоянии раздражения ежеминутными нервными замечаниями, мелкими придирками, тупыми повторениями одних и тех же скучных, до смерти надоевших слов и указаний, вечной недоверчивостью и подозрительностью и, наконец, долгими, вязкими, удручающими нотациями.

Берди-Паша не был выпечен из такого пресного теста. Его, должно быть, отлили из железа на заводе и потом долго били стальными молотками, пока он не принял приблизительную, грубую форму человека. Снабдить же его душою мастер позабыл.

И правда: Берди-Паша кажется лишенным если не всех, то очень многих свойственных обыкновенному человеку достоинств и недостатков, страстей и слабостей. Он не знает ни честолубия, ни жалости, ни любви, ни привязанности. Ему чужды страх и стыд. Он никогда не хвалит и не делает выговоров. Он только спокойно и холодно, как машина, наказывает, без сожаления и без гнева, прилагая максимум своей власти. У него сильный стальной голос, слышимый из конца в конец огромнейшего Ходынского поля, на котором летом свободно располагаются лагерями и производят учение все войска Московского военного округа. Но ни разу он не закричал на юнкера, так же как никогда не показал ему сострадания.

Все в училище, не исключая и офицеров, глубоко убеждены в том, что Берди-Паша просто глуп. Его редкие изречения тщательно запоминаются второкурсниками и передаются из поколения в поколение, обрастая, конечно, добавками, как корабль в далеком пути обрастает ракушками и моллюсками.

Берди-Пашу юнкера нельзя сказать чтобы любили, но они ценили его за примитивную татарскую справедливость, за голос, за представительность и в особенности за неподражаемую красоту и лихость, с которыми он гарцевал перед батальоном на своей собственной чистокровной белой арабской кобыле Кабардинке, которую сам Паша, со свойственной ему упрямостью, называл Кабардиновкой.

Но теперь юнкера, а в особенности выпускные, были обижены тем, что немедленно по окончании торжественного разбора вакансий Берди-Паша бесцеремонно погнал батальон на строевые занятия, как будто наплевав на великую важность происшедшего события.

Всякий порядочный командир батальона дал бы своей части в подобном случае хоть час-два блаженного отдыха после только что пережитых, столь сильных впечатлений.

Это с его стороны невежество, умышленное свинство, пренебрежительный вызов, требующий немедленного воздаяния.

И вот тогда, точно по телеграфу, работающему без проводов, разнесся, начиная с первой роты, самой долговязой, самой шикарной и самой авторитетной, и кончая предприимчивой четвертой – невидимый приказ: «Травить всех по-прежнему, умеренно. Хухру и Пупа – с натиском. А нераскаянного Берди-Пашу не только сугубо, но двугубо и даже многогубо».

Это предложение было принято повсюду с величайшей готовностью. К тому же, надо сказать, всему училищу было известно, что в этом году производство начнется с большим, против всегдашнего, промедлением. По каким-то важным политическим причинам государь опоздает приехать в Петербург. Лишнее промедление обрекало всех юнкеров на длительную скуку. Сугубая травля обещала некоторые развлечения, и она вышла действительно неслыханно разнообразной и блестящей.

Она началась непосредственно после вечерней переключки, «Зори» и пения господней молитвы, когда время до сна считалось свободным. Как только раздавалась команда «разойтись», тотчас же чей-нибудь тонкий гнусавый голос жалобно взывал: «Ху-у-ух-рик!» И другой подхватывал, точно хрюкая поросенком: «Хухра, Хухра, Хухра». И целый многоголосый хор животных начинал усердно воспевать это знаменитое прозвание, имитируя кошек, собак, ослов, филинов, козлов, быков и так далее.

Затем начинался фейерверк в честь и славу Пупа. Не без гордости взял на себя Александров должность одного из самых главных пиротехников. Недаром же он еще в корпусе, вместе с товарищем Тучабским, вышедшим год назад в офицеры, изучал искусство потешных огней. Он даже не знал, откуда ему приносили серу и селитру, кремортартар и другое. Он сам толлок в мелкий порошок древесный уголь и сахар. Порох он получал из патронов, оставшихся у многих юнкеров от учебной стрельбы. Необходимые же трубки и трубочки он скатывал на шомполах и на других цилиндрических предметах. Таким образом он, хоть и грубо, но все-таки достаточно для простой цели, изготовлял шутихи, бенгальские огни, римские свечи и главным образом ракеты.

Когда травление Хухрика начинало немного приедаться, Александров пускал цветной сигнал для привлечения внимания и сейчас же, держа двумя пальцами трубку ракеты, поджигал ее. Ракета, оставляя звездчатый золотой хвост, весело шла вверх. Вибрирующее шипение шло за нею. Это продолжалось недолго, секунд десять-двенадцать, но времени хватало, чтобы прокричать мадригал Дудышкину. Множество голосов наперебой восклицало:

«Я Пуп, но не так уж глуп. Когда я умру, похороните меня в моей табакерке. Робкие девушки, не бойтесь меня, я великодушен. Я Пуп, но это презрительная фора моим врагам. Я и Наполеон, мы оба толсты, но малы» – и так далее, но тут, достигая предела, ракета громко лопалась, и сотни голосов кричали изо всех сил: «Пуп! «

Травля Берди-Паши была сложнее, разнообразнее и художественнее. Сначала из архивов памяти, еще от преданий предков, выкапывались поразительные, незабвенные изречения Паши. Вот некоторые из них:

Юнкер стоит, облокотившись на раму, и смотрит сквозь окно на училищный плац. Подходит Берди-Паша и упирается взглядом ему в спину. Оба молчат очень долго, минут десять, пятнадцать... Вдруг Паша нарушает тишину:

– Стоить и думать, и думать, что думать, и сам не знает, что ничего не думать. А не хотите ли в карцер, юнкер?

И еще:

Оркестр Крейнбринга, училищный знаменитый оркестр, играет в училищной столовой. Один из музыкантов держит под мышкой свою валторну. Берди-Паша подходит к капельмейстеру и спрашивает:

– А этот почему стоит без дела?

– Он паузу держит.

– Почему же он ее за пазухой держать? почему не играть?

И опять о Крейнбринге:

Наблюдая за оркестром, Паша замечает, что старый артист на бейном басы во все время концерта ни разу не прикоснулся к своему инструменту. Он подходит к Крейнбрингу:

– Ну а этот почему не играть? Тоже паузу держать? Лентяй!

– Нет, он амбушюр потерял.

– Вот сволочь! Казенную вещь терять? Взгрейте-ка его хорошенько, а стоимость вычтите из его жалования. Я их научу, как казенные вещи терять!

Потом на голову бедного полковника Артабалева вешаются все бесчисленные анекдоты о русских генералах, то слишком недогадливых, то чересчур ревностных, то ужасно откровенных, то неловких поклонников дамской красоты, то любителей загадок, и так без конца.

Анекдоты эти рассказываются обыкновенно в таких местах, где сам Берди-Паша их отлично может расслышать. Начинает рассказчик так:

– Ну а вот послушайте новый анекдот еще об одном генерале... – Все, конечно, понимают, что речь идет о Берди-Паше, тем более что среди рассказчиков многие – настоящие имитаторы и с карикатурным совершенством подражают металлическому голосу полковника, его обрывистой, с краткими фразами речи и со странной манерой употреблять ер на конце глаголов.

Берди-Паша понимает, изводится, вращает глазами, прикусывает губу, но сделать ничего не может – боится попасть в смешное или неприятное положение. Но татарская кровь горяча и злопамятна. Берди-Паша молча готовит месть.

Однажды в самый жаркий и душный день лета он назначает батальонное учение. Батальон выходит на него в шинелях через плечо, с тринадцатифунтовыми винтовками Бердана, с шанцевым инструментом за поясом. Он выводит батальон на Ходынское поле в двухвзводной колонне, а сам едет сбоку на белой, как снег, Кабардинке, офицеры при своих ротах и взводах.

Надо сказать, что Берди-Паша, вероятно, один из самых совершеннейших и тончайших мастеров и знатоков батальонного учения во всем корпусе русских офицеров.

Он не давал батальону роздыха (это оттого, что сам он сидит на Кабардиновке, сердито думали юнкера) и только изредка, сделав десять, пятнадцать построений, командовал:

– Вольно. Оправиться. С мест не сходить, – чтобы через две минуты снова крикнуть: – Батальон, в ружье. (Такие частые, но малые остановки, как известно, гораздо больше утомляют пехотинцев, чем сплошной ровный ход.) Он управлял батальоном, точно играл на гармонии: сжимал батальон так тесно в сближение четырех рот, что он казался маленьким и страшно тяжелым, и разжимал во взводную колонну так, что он казался длинным-предлинным червяком. Он заставлял «заходить», то есть вращаться, как по циркулю, целые роты. Он водил батальон прямым, широким, упругим маршем и облическим, правильно косым движением, и вдруг резкой командой «на руку» заставлял все четыреста ружей ошестиниться на ходу штыками, мгновенно взятыми наперевес.

Берди-Паша был в эти минуты похож на знаменитого балетмейстера, управляющего отлично слаженным кордебалетом, на директора цирка, заставляющего массу нарядных лошадей однообразно делать сложные вольты, лансады и пируэты, на большого мальчишку, играющего своими раздвижными деревянными солдатиками, заставляя всю их сомкнутую группу разом сдвигаться и раздвигаться то сверху вниз, то слева направо.

Команды Берди-Паши были отчетливы, а приемы юнкеров абсолютно правильны. Но сегодня Артабалева точно обьял белены и взбесился. Через каждые десять шагов он командовал:

– Стой!

И батальон, как один человек, останавливался в два темпа, а в три других темпа, сняв ружье с плеча, ставил его прикладом на землю. И тотчас уже опять:

– Батальон, шагом марш, стой, шагом марш, стой, шагом марш, стой.

И на каждой краткой остановке молниеносный, пламенно бешеный разнос:

– Почему приклады стучать? Почему стучать приклады? Сказано, опускать приклады на землю беззвучно. Беззвучно опускать вам приказано.

И снова:

– Шагом марш. Стой. Зачем, зачем шлепают прикладами? Заморю на учении, а заставлю, чтоб никакого звука не было слышно.

Так Берди-Паша каждый раз неистовствовал и крупным галопом носился вокруг батальона, истязая шпорами красавицу Кабардинку, которая вся была в мыле и роняла со своей прелестной морды охлопья белой пены, но добиться идеального беззвучия он не мог, как ни выходил из себя.

Юнкера знали, в чем здесь дело. Берди не был виноват в том, что заставлял юнкеров исполнять неисполнимое. Виноват был тот чрезвычайно высокопоставленный генерал, может быть, даже принадлежавший к членам императорской фамилии, которого на смотре в казармах усердные солдаты, да к тому же настреканные начальством на громкую лихость ружейных приемов, так оглушили и одурманили битьем деревянными прикладами о деревянный пол, что он мог только сказать с унынием:

– Да, все это очень хорошо, но хотелось бы, чтобы было потише. Согласитесь, что такими мощными ударами можно потрясти берданку и значительно испортить ее тонкие, весьма чувствительные внутренние части.

Замечание это было разослано для принятия ко вниманию во все округа, корпуса, дивизии и полки. Военная служба – строгая служба. В ней нет места ни своеволию, ни отказу, ни возражению. Приказано и – делать. И притом не рассуждать. Но беспрестанные «марш» и «стой» в сопровождении татарских наскоков Берди-Паши извели и утомили юнкеров, а главное, наскучили до смерти. Сначала один, двое, трое юнкеров, по усталости и небрежности и отчасти по случайности, слишком громко поставили приклады. Соседи поддерживали их из проказливости, показала свою власть и липкая подражательность. По батальону побежал магнетический слух: «Берди-Пашу травят! Травите Берди-Пашу».

И тогда уже весь батальон, четыреста человек, стали при каждой команде «стой» изо всех сил бить прикладами по сухой земле.

Батальонный не растерялся. Он озверел: пята свою Кабардинку задом на строй первой роты, позеленевший от злобы, он кричал обрывающимся голосом:

– Не хотите? Не жалаете? Разнежничались? А, вот я вас всех сейчас до выставки погоню, туда и обратно.

Чей-то неведомый голос вдруг возразил из середины строя:

– Ан не погонишь!

– Не погоню? – взревел Паша изо всей силы своего голоса, и лицо его пошло красными пятнами. – Не прогоню? Два раза прогоню: туда и обратно и еще раз – туда и обратно... Батальон на плечо. Шагом марш!

Ошарашенный этой грозной вспышкой, батальон двинулся послушно и бодро, точно окрик послужил ему хлыстом. Имя юнкера-протестанта так и осталось неизвестным, вероятно, он сам сначала опешил от своей бессознательно вырвавшейся дерзости, а потому ему стало неловко и как-то стыдно сознаться, тем более что об этом никто уже больше не спрашивал. Спроси Паша сразу на месте – кто осмелился возразить ему из строя, виновник немедленно назвал бы свою фамилию: таков был строгий устный адат училища.

Не важно, какому бы тягчайшему наказанию подверг Берди-Паша дерзилу. Гораздо опаснее было бы, если бы весь батальон, раздраженный Пашой до крайности и от души сочувствовавший смельчаку, вступился в его защиту. Вот тут как раз и висели на волоске события, которые грозили бы многим юнкерам потерей карьеры за несколько дней до выпуска, а славному дорожному училищу темным пятном.

Вовсе не от такта, или политики, или жалости ограничился Паша длинным маршем, в котором невольно приняли участие ротные командиры и курсовые офицеры. Нет, Берди-Паша поступил так, влекомый природной глупостью и ослепившим его гневом. Но четырех

концов ему все-таки не удалось сделать. В конце третьего у штабс-капитана Белова, курсового офицера четвертой роты, от жары и усталости хлынула кровь из носа в таком обилии, что ученье пришлось прекратить. Батальон повели обратно, в лагери. У Берди-Паши, еще не перестававшего шпорить Кабардинку, был вид тигра, у которого изо рта насильно вырвали добычу.

Глава XXX. Производство

Упорствуют, не идут, нарочно не хотят идти из Петербурга волшебные бумаги, имеющие магическое свойство одним своим появлением мгновенно превратить сотни исхудалых, загоревших дочерна, изнывших от ожидания юношей в блистательных молодых офицеров, в стройных вояк, в храбрых защитников отечества, в кумиров барышень и в украшение армии.

Но Петербург все безмолвствует. Доходят до лагерей смутные слухи, что по каким-то очень важным государственным делам император задержался за границей и производства можно ожидать только в середине второй половины июля месяца.

Училищных офицеров тоже беспокоит и волнует это замедление. После производства в офицеры бывшие ученики и прямые подчиненные становятся отрезанным ломтем, больше о них нет ни забот, ни хлопот, ни ответственности, ни даже воспоминаний.

Будущие второкурсники (господа обер-офицеры) обыкновенно дня за три до производства отпускаются в отпуск до начала августа, когда они в один и тот же день и час должны будут прибыть в училищную приемную и, лихо откозыряв дежурному офицеру, громко отрапортовать ему:

– Ваше благородие, является из отпуска юнкер второго курса, такой-то роты и фамилия.

Но от дня производства до явки отпускных у начальства остается почти месяц свободного от занятий времени, которым каждый пользуется по средствам и воображению.

Потому-то весь состав училища становится в эти дни напряженного ожидания нетерпеливее и распушеннее, чем обыкновенно. Занятий почти нет. Ружья на неделю отобраны от юнкеров и отправлены в оружейную мастерскую училища. Там старые, постоянные мастера уже успели на глаз, на ощупь и через специальное маленькое зеркальце осмотреть все раковинки, ржавчинки и царапинки и другие повреждения, которые принесли ружьям плохая чистка и небрежное обращение. Старшему курсу уже был прислан отчет о том, какая сумма будет вычтена при производстве с каждого юнкера за порчу казенных вещей (Александрову насчитали ужасно много: тринадцать рублей сорок восемь копеек), второй курс заплатит свою пеню в будущем году.

Занимаются подзубриванием уставов, перечислением лиц императорской фамилии, караулом при знамени и перед пороховым погребом, немного гимнастикой, немного маршировкой.

Юнкеров, взявших вакансии в артиллерию, училищный береитор Плакса каждый день тренирует в верховой езде. Больше всего увлекаются купаньем – погода стоит пламенная.

Даже травля надоела. Попробовал Александров однажды вечером запустить последнюю оставшуюся у него ракету – как раз она и вылетела шикарно и разорвалась эффектно. Но никто не послал ей вслед острого словца, только на взрыв какой-то юнкер ответил: «Пуп» – и так уныло у него вышло, как будто он собирался крикнуть: «А производства-то все нет...»

Третья рота устроила перед своими бараками пышное представление под заглавием «Высокое награждение султаном ниневийским храброго джигита и абрека Берди-Пашу». Постановка была очень недурна, принимая во внимание, что декорации и костюмы были сделаны из простынь, подушек, шинелей, цветной бумаги и древесных веток. Юнкер Павлов, изображавший Пашу, обмотал лоб громаднейшим тюрбаном, посол султана был в белом остроконечном картонном колпаке, усеянном звездами. Собственная музыка сыграла при

входе посла ниневийского марш; инструментами музыкантам служили: головные гребешки, бумажные трубы, самодельные барабаны и свой собственный свист.

Сцена роскошно освещалась четырьмя стеариновыми свечами. Посол низко поклонился Берди-Паше, а Берди-Паша послу. Затем посол приказал своей свите: «Приведите присланных одалисок».

Свита ушла и через минуту вернулась назад, поддерживая с нежностью двух смазливых юнкеров, одетых в роскошные женские одежды из простынь.

– О прелестные одалиски, упоите зрение знаменитого воина Берди-Паши вашими грациозными танцами.

Оркестр грянул «Турецкий патруль», и под него одалиски протанцевали изумительный танец, виляя бедрами и боками, вращая животами, оглядывая публику сладострастными восточными взорами.

– Теперь довольно, – сказал посол и поклонился Паше. Паша сделал то же самое. – О великий батырь Буздыхан и Кисмет, – сказал посол, – мой владыко, сын солнца, брат луны, повелитель царей, жалует тебе орден великого Клизапомпа и дает тебе новый важный титул. Отныне ты будешь называться не просто Берди-Паша, а торжественно: Халда, Балда, Берди-Паша. И знай, что четырехстворчатое имя считается самым высшим титулом в Ниневии. В знак же твоего величия дарю тебе два драгоценных камня: желчный и мочевого.

Новоиспеченный Халда, Балда, Берди-Паша глубоко поклонился послу, посол сделал то же и потом сказал:

– Мой повелитель дарит тебе этих прекрасных ниневятинок.

– Ни, ни! – закачал Паша головою. – Что я с ними буду делать? мне они незачем. А вот место евнуха в султановом гареме, да еще с порядочным жалованием, от этого я бы не отказался... – Будь им с нынешнего числа, – сказал посол. – Я вовсе не посол, а сам султан. Ты нравишься мне, Берди. Идем-ка вместе в трактир. Пьеса окончена. Что? Хорошо я играл, господа почтенные зрители?

Эта пьеса-церемония была придумана за час до представления и, по совести, никуда не годилась. Она не имела никакого успеха. К тому же у юнкеров еще не вышло из памяти недавнее тяжелое столкновение с Артабалевским, где обе стороны были не правы. Юнкерская даже больше.

Но зато первая рота, государева, в скором времени ответила третьей – знаменной, поистине великолепным зрелищем, которое называлось «Похороны штыка» и, кажется, было наследственным, преемственным. «Жеребцы» не пожалели ни времени, ни хлопот и набрали, бывая по воскресеньям в отпуску, множество бутафорского материала.

Начали они, когда слегка потемнело. Для начала была пущена ракета. Куда до нее было кривым, маленьким и непослушным ракетиком Александрова – эта работала и шипела, как паровоз, уходя вверх, не на жалкие какие-нибудь сто, двести сажен, а на целых две версты, лопнувши так, что показалось, земля вздрогнула и рассыпала вокруг себя массу разноцветных шаров, которые долго плавали, погасая в густо-голубом, почти лиловом небе. По этому знаку вышло шествие.

Впереди шли скрипка, окарина и низкая гитара. Они довольно ладно играли похоронный марш Шопена. За музыкой шел важными и медленными шагами печальный тамбур, держа в руках высокую палку с траурными лентами.

Затем шествовал гроб такой величины, что в нем свободно умещался берданочный штык, размером не более полуаршина. Гроб был покрыт чем-то похожим на парчу и завален весь через верх грудой полевых цветов. Он стоял на крошечных носилках, четыре угла которых поддерживали четыре траурных кавалера, освещаемые с обеих сторон смоляными факелами. Дальше медленно и почтительно двигались провожающие. Шествие началось у купального водоема, а окончилось за первым флангом расположения первой роты. Там гробик был опущен в приготовленную для него яму и засыпан землей. Каждый юнкер бросил горсточку. Потом могильный холмик был осыпан цветами, водружена была досочка со скромной надписью:

ШТЫК 1889.

И вся церемония окончилась в той же строгой серьезности, как и началась.

– Желающие могут произнести речи, – предложил высокий юнкер первой роты, лицо которого нельзя было разглядеть из-за спустившихся сумерек. Кто-то приблизился к могиле и стал говорить:

– Прощай, штык. Два года носили мы тебя на левом бедре. Спрашивается: зачем? Как символ воинского звания? Но вид у тебя был совсем не воинственный, а скорее жалкий. Воткнутый в свое кожаное узкое влагалище, ты походил на длинную болтающуюся селедку. Для возможной обороны? Но ты только тогда и силен, когда подкреплён огромным весом ружья. Для украшения? Но без тебя воинский чин только выигрывал в красоте. У нас были в обмундировании золотые орлы на барашковых шапках, пылающие бомбы на медных застёжках поясов, золотые галуны и прекрасный наш вензель. Куда же ты сунулся, о несчастный, в какое благородное общество? Я помню наш прежний тяжеловесный тесак, с которым наши славные предки делали такие могучие атаки и который был отнят у нас за чужую проказу. Он величествен и грозен, как настоящее оружие войны. И он был универсален: в случае надобности на войне им можно было нарубить дров, наколоть лучин, расколотить лед, вырыть окоп и так далее... Прощай же, штык. Ржавей и разрушайся в земле. Мы не помним на тебя зла. Это не ты пришел непрощенный в наше общество. Нет. Тебя нам навязали насильно, и в конце концов в моей краткой речи я нарушил старый обычай: «О мертвых либо хорошо, либо ничего». Поэтому, воздавая тебе справедливость, скажу почтительно, что в минувшую войну с турками ты немало продырявил и пропорол вражеских животов. Прощай же, наш невольный боевой товарищ. Через день, два тебя заменит нам благородная, быстрая, страшная шашка, благородная дочь знаменитой исторической сабли. Аминь.

– Аминь, – повторяют участники похорон. Печальный обряд окончен, и все расходится по своим баракам.

Теплая ночь, и на небе пропасть больших шевелящихся звезд...

Но наступает время, когда и травля начальства и спектакли на открытом воздухе теряют всякий интерес и привлекательность. Первый курс уже отправляется в отпуск. Юнкера старшего курса, которым осталось день, два или три до производства, крепко жмут руки своим младшим товарищам, бывшим фараонам, и горячо поздравляют их со вступлением в училищное звание господ обер-офицеров.

– Блюдайте внутреннюю дисциплину, – говорят они уходящим младшим товарищам. – Не распускайте фараонов, глядите на них свысока, следите за их молодецким видом и за благородством души, остерегайтесь позволять им хоть тень фамильярности, жучьте их, подтягивайте, ставьте на место, окрикивайте, когда надо. Но завещаем вам: берегитесь цукать их нелепой гоньбой и глупыми, оскорбительными приставами. Помните, что Александровское военное училище есть первейшее из всех российских училищ и в нем дисциплина живет не за страх, а за совесть и за добровольное взаимное доверие. Прощайте, друзья, прощайте, и дай бог нам встретиться соратниками на поле брани.

А другие говорили уходящим:

– Никогда и никому не позволяйте унижать звание пехотинца и гордитесь им. Пехота – самый универсальный род оружия. Она передвигается подобно кавалерии, стреляет подобно артиллерии, роет окопы подобно инженерным войскам и, подобно им, строит мосты и понтоны, и решает участь боя главным образом мужество и стойкость пехоты. Прощайте!

Господа обер-офицеры ушли, и как раз на другой день рано утром прибыл из Москвы в хамовнические лагеря в полном составе чудесный оркестр училища.

– Это – подарок начальника училища, – объяснил Дрозд, – лето было уж очень жаркое и лагеря тяжелые.

– Сегодня производство? – спросил нервно один из юнкеров.

– Не знаю. Ровно ничего не знаю, – ответил Дрозд уклончиво.

В семь часов сделали перекличку. Батальонный командир отдал приказание надеть юнкерам парадную форму. В восемь часов юнкеров напоили чаем с булками и сыром, после чего Артабалевский приказал батальону построиться в двухвзводную колонну, оркестр – впереди знаменной роты и скомандовал:

– Шагом марш.

Утро было не жаркое и не пыльное. Быстрый крупный дождь, пролившийся перед зарею, прибил землю: идти будет ловко и нетрудно. Как красиво, резво и вызывающе понеслись кверху звуки знакомого марша «Под двуглавым орлом», радостно было под эту гордую музыку выступать широким, упругим шагом, крепко припечатывая ступни. Милым показалось вдруг огромное Ходынское поле, обильно политое за лагерное время юнкерским потом. Перед беговым ипподромом батальон сделал пятиминутный привал – пройденная верста была как бы той проминкой, которую делают рысаки перед заездом. Все оправились и ту же подтянули ремни, расправили складки, выровняли груди и опять – шагом марш – вступили в первую улицу Москвы под мужественное ликование ярко-медных труб, веселых флейт, меланхолических кларнетов, задумчивых тягучих гобоев, лукавых женственных валторн, задорных маленьких барабанов и глухой могучий темп больших турецких барабанов, оживленных веселыми медными тарелками.

Свернутое знамя высится над колонной своим золотым острием, и, черт побери, нельзя решить, кто теперь красивее из двух: прелестная ли арабская кобыла Кабардинка, вся собранная, вся взволнованная музыкой, играющая каждым нервом, или медный ее всадник, полковник Артабалевский, прирожденный кавалерист, неукротимый и бесстрашный татарин, потомок абреков, отсекавших одним ударом шашки человеческие головы.

Улицы и слева и справа полным-полны москвичами.

– Наши идут. Александровцы. Знаменские.

Изю всех окон свесились вниз милые девичьи головы, женские фигуры в летних ярких ситцевых одеждах. Мальчишки шныряют вокруг оркестра, чуть не влезая замурзанными мордочками в оглушительно рывкающий огромный геликон и разевающие рты перед ухающим барабаном. Все военные, попадающие на пути, становятся во фронт и делают честь знамени. Старый, седой отставной генерал, с георгиевскими петлицами, стоя, провожает батальон глазами. В его лице ласковое умиление, и по щекам текут слезы.

Все двести юнкеров, как один человек, одновременно легко и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом почти выше чем человеческом движении есть страшная сила и суровое самоотречение.

Какая-то пожилая высокая женщина вдруг всплескивает руками и громко восклицает:

– Вот так-то они, красавцы наши, и умирать за нас пойдут...

Святые, чистые, великие слова. Сколько народной глубокой мудрости в них. Вот забрили лоб рекруту. Ведут его под присягу. Бабы плачут, девки плачут, старики кряхтят на завалинках. А забритый пьян, распьян, куражится, задается, шумит, выражается. «Желаю, говорит, пролить кровь за отечество, Марфа. Тащи еще четверть водки». А вот он уже и в солдатах. Обреченный человек, казенный человек, ответчик за весь мир православный, слуга царю и родине. Первое время-то какое тяжелое! С непривычки все домой да домой тянет и учение плохо дается. Ну а там, гляди, обратался, отпрукался, освоился, стал настоящим исправным солдатом, даже ефлетером и младшим ундером. Приехал домой на кратковременный отпуск – узнать нельзя: стройный, ловкий, уверенный, прежнего вахлака и в помине нет. Спрашивают: «Ученьем вас небось много мучают?» А он этак по-солдатски, с кондачка: «Нам ученье чижало, между прочим ничаго. А убоина у нас каждый день во щах и каша тоже, и мясная порция на спичке выдается, двадцать пять золотников ежедневно. А в государевы дни и в полковой праздник водку нам подносят по целой манерке». Нет, жить в солдатах можно хорошо, надо только быть расторопным, понимающим, усердным и веселым и, главное, правдивым.

А потом, спаси господи, война начнется. Идет солдат на войну, верный присяге. Шинелью из кислой шерсти навкось опоясан, ранец на нем и вещевой мешок со всем его имуществом, ружье на плече, патроны в подсумках.

Идет полк с музыкой – земля под ним дрожит и трясется, идет и бьет повсюду врагов отечества: турок, немцев, поляков, шведов, венгерцев и других инородцев. И все может понять и сделать русский солдат: укрепление соорудить, мост построить, мельницу возвести, пекарню или баню смастерить.

Он же, солдат, и на верную смерть охотником вызваться готов, и ротного своим телом от пули загородить, и товарища раненого на плечах из боя вынести, и офицеру своему под огнем обед притащить, и пленного ратника накормить и обласкать – все ему сподручно.

А забравши под Российское государство великое множество городов и взявши без числа пленных, возвращается солдат домой, простреленный, иногда без руки, иногда без ноги, но с орденом на груди святого великомученика Георгия.

И тут уже солдат весь входит в любимую легенду, в трогательную сказку. Ни в одном другом царстве не окружают личность военного кавалера таким наивным и милым уважением, как в России. Солдат из топора щи мясные варит, Петра Великого на чердаке от разбойников спасает, черта в карты обыгрывает, выгоняет привидения из домов, все улаживает, всех примиряет и везде является желанным и полезным гостем, кумом на родинах, сватом на свадьбах.

«Странно, – думает Александров, – вот мы учились уставам, тактике, фортификации, законоведению, топографии, химии, механике, иностранным языкам. А, между прочим, нам ни одного слова не сказали о том, чему мы будем учить солдат, кроме ружейных приемов и строя. Каким языком я буду говорить с молодым солдатом. И как я буду обращаться с каждым из них по отдельности. Разве я знаю хоть что-нибудь об этом неведомом, непонятном существе. Что мне делать, чтобы приобрести его уважение, любовь, доверие? Через месяц я приеду в свой полк, в такую-то роту, и меня сразу определят командовать такой-то полуротой или таким-то взводом на правах и обязанностях ближайшего прямого начальника. Но что я знаю о солдате, господи боже, я о нем решительно ничего не знаю. Он бесконечно темен для меня.

В училище меня учили, как командовать солдатом, но совсем не показали, как с ним разговаривать. Ну, я понимаю – атака. Враг впереди и близко. «Ребята, вся Россия на нас смотрит, победим или умрем». Выхватываю шашку из ножен, потрясаю ею в воздухе. «За мной, богатыри. Урррраааа...»

Да, это просто. Это героизм. Это даже вот сейчас захватывает дыхание и холодом вдохновения бежит по телу. О, это я сумею сделать великолепно. Но ежедневные будни. Ежедневное воспитание, воспитание дикого неуча, часто не умеющего ни читать, ни писать. Как я к этому важному делу подойду, когда специально военных знаний у меня только на чуточку больше, чем у моего однолетки, молодого солдата, которых у него совсем нет, и, однако, он взрослый человек в сравнении со мною, тепличным дитятей. Он умеет делать все: пахать, боронить, сеять, косить, жать, ухаживать за лошадьёю, рубить дрова и так без конца... Неужели я осмелюсь отдать все его воспитание в руки дядек, унтер-офицеров и фельдфебелей, которые с ним все-таки родня и свой человек?

Нет, если бы я был правительством, или военным министром, или начальником генерального штаба, я бы распорядился: кончил юноша кадетский корпус – марш в полк рядовым. Носи портянки, ешь грубую солдатскую пищу, спи на нарах, вставай в шесть утра, мой полы и окна в казармах, учи солдат и учись от солдат, пройди весь стаж от рядового до дядьки, до взводного, до ефрейтора, до унтер-офицера, до артельщика, до каптенармуса, до помощника фельдфебеля, попотей, потрудись, белоручка, подравняйся с мужиком, а через год иди в военное училище, пройди двухгодичный курс и иди в тот же полк обер-офицером.

Не хочешь? – не нужно – иди в чиновники или в писаря. Пусть те, у кого кишка слаба и нервы чувствительны, уходят к черту – останется крепкая военная среда».

Александров вздрагивает и приходит в себя от мечтаний. Жданов толкает его локтем в

бок и бурчит:

– Не разравнивай рядов.

Батальон уже прошел Никитским бульваром и идет Арбатской площадью. До Знаменки два шага. Оркестр восторженно играет марш Буланже. Батальон торжественно входит на училищный плац и выстраивается поротно в две шеренги.

– Смирно, – командует Артабалевский, соскакивая с лошади. – Под знамя. Слушай на караул.

Ладно брякают ружья. Знамя, в сопровождении знаменщика и адъютанта, уносится на квартиру начальника училища. Генерал Анчутин выходит перед батальоном.

– Здравствуйте, юнкера, – беззвучно, но понятно шепчут его губы.

– Здравия желаем, ваше превосходительство, – радостно и громко отвечает черная молодежь.

Начальник училища передает быстро подошедшему Артабалевскому большой белый, блестящий картон. Берди-Паша отдает честь и начинает громко читать среди гулкой тишины:

– «Его императорское величество государь и самодержец всея России высочайше соизволил начертать следующие милостивые слова».

Юнкера вытягиваются и расширяют ноздри.

– «Поздравляю моих славных юнкеров с производством в первый обер-офицерский чин. Желаю счастья. Уверен в вашей будущей достойной и безупречной службе престолу и отечеству.

На подлинном начертано – *Александр* «.

Могучим голосом восклицает Артабалевский:

– Ура его императорскому величеству. Ура!

– Ура! – оглушительно кричат юнкера.

– Ура! – отчаянно кричит Александров и растроганно думает: «А ведь что ни говори, а Берди-Паша все-таки молодчина».

Все бегут в гимнастическую залу, где уже дожидается юнкеров офицерское обмундирование.

Там же ротные командиры объявляют, что спустя трое суток господа офицеры должны явиться в канцелярию училища на предмет получения прогонных денег. В конце же августа каждый из них обязан прибыть в свою часть. Станным кажется Александрову, что ни у одного из юных подпоручиков нет желания проститься со своими бывшими командирами и курсовыми офицерами, зато и у тех как будто нет такого намерения. Удивленный этим, Александров идет через весь плац и звонится на квартиру, занимаемую Дроздом, и спрашивает долговязого денщика, полуотворившего дверь:

– Можно ли видеть господина капитана?

– Никак нет, ваше благородие, – равнодушно отвечает тот, – только что выехали за город.

Александров пожимает плечами.

Глава XXXI. Напутствие

Форма одежды визитная, она же – бальная: темно-зеленоватый, длинный, ниже колен, сюртук, брюки навыпуск, с туго натянутыми штрипками, на плечах – золотые эполеты... какая красота. Но при такой форме необходимо, по уставу, надевать сверху летнее серое пальто, а жара стоит неопиcуемая, все тело и лицо – в поту. Суконная, еще не размякшая, не разносившаяся материя давит на жестких углах, трет ворсом шею и жмет при каждом движении. Но зато какой внушительный, победоносный воинский вид!

Первым долгом необходимо пойти на Тверскую улицу и прогуляться мимо генерал-губернаторского дворца, где по обеим сторонам подъезда стоят, как львы, на ефрейторском карауле два великана гренадера. Они еще издали встречают Александрова готовно

растарженными глазами и, за четыре шага, одновременно, прием в прием, такт в такт, звук в звук, великолепно отдают ему винтовками честь по-ефрейторски. Он же, держа руку под козырек и проходя с важной неторопливостью, смотрит каждому по очереди в лицо взором гордым и милостивым. И кажется ему в этот миг, что бронзовый генерал Скобелев, сидящий на вздыбленном коне посредине Тверской площади, тихо произносит:

– Эх. Такого бы мне славного обер-офицера в мою железную дивизию, да на войну.

Но это наслаждение слишком коротко, надо его повторить. Александров идет в кондитерскую Филиппова, съедает пирожок с вареньем и возвращается только что пройденным путем, мимо тех же чудесных гренадеров. И на этот раз он ясно видит, что они, отдавая честь, не могут удержать на своих лицах добрых улыбок: приязни и поощрения.

А теперь – к матери. Ему стыдно и радостно видеть, как она то смеется, то плачет и совсем не трогает персикового варенья на имбире. «Ведь подумать – Алешенька, друг мой, в животе ты у меня был, и вдруг какой настоящий офицер, с усами и саблей». И тут же сквозь слезы она вспоминает старые-престарые песни об офицерах, созданные куда раньше Севастопольской кампании.

Офицерик просто душка,
Только ростом не велик.
Ах, усы его и шпоры,
Вы с ума меня свели.

– А то еще, Алеша, один куплет. Мы его под гротфатер пели – был такой старинный модный танец:

Вот за офицером
Бежит мамзель,
Ее вся цель,
Чтоб он в нее влюбился,
Чтоб он на ней женился.

Но офицер
Ее не замечает
И только удирает
Во весь карьер.

И опять она обнимает Алешину голову и мочит ее старческими слезами.

– Поедем завтра в Троице-Сергиевскую лавру, Алеша. Закажем молебен Угоднику.

Через три дня, в десять часов пополудни, Александров входит в училищную канцелярию, с трудом отыскав ее в лабиринтах белого здания. Седой казначей выдавал прогонные деньги молодым подпоручикам, длинным гусем ожидающим своей очереди. Расчет производился на старинный образец: хотя теперь все губернские и уездные большие города давно уже были объединены друг с другом железной дорогой, но прогоны платились, как за почтовую езду, по три лошади на персону с надбавкой на харчи, разница между почтой и вагоном давала довольно большую сумму. Вероятно, это был чей-то замаскированный подарок молодым подпоручикам.

Выдав офицеру деньги и попросив его расписаться, казначей говорил каждому:

– Его превосходительство, господин начальник училища, просит зайти к нему на квартиру ровно в час. Он имеет нечто сказать господам офицерам, но, повторяю со слов генерала, что это не приказание, а предложение. Счастливого пути-с. Благодарю покорно.

Александров пришел в училище натошак, и теперь ему хватило времени, чтобы сбегать на Арбатскую площадь и там не торопясь закусить. Когда же он вернулся и подошел к помещению, занимаемому генералом Анчутиным, то печаль и стыд охватили его. Из двухсот

приглашенных молодых офицеров не было и половины.

– Что же другие? – спросил он в недоумении. Но ему никто не ответил. Кто-то поглядел на часы и сказал:

– Еще пять минут осталось. Подождем, что ли.

Но в эту минуту дверь широко раскрылась, и денщик в мундире Ростовского полка, в белых лайковых перчатках сказал:

– Пожалуйста, ваши благородия. Его превосходительство изволят вас ожидать в гостиной комнате. Соблаговолите следовать за мною.

Офицеры стали вслед за ним подыматься во второй этаж, немного смущенные малым количеством, немного подавленные всегдашней, привычной робостью перед каменным изваянием.

Генерал принял их стоя, вытянутый во весь свой громадный рост. Гостиная его была пуста и проста, как келия схимника. Украшали ее только большие, развешанные по стенам портреты Тютчева, Корнилова, Скобелева, Радецкого, Тер-Гукасова, Кауфмана и Черняева, все с личными надписями.

Анчутин холодно и спокойно оглядел бывших юнкеров и начал говорить (Александров сразу схватил, что сиплый его голос очень походит на голос коршевского артиста Рощина-Инсарова, которого он считал величайшим актером в мире).

– Господа офицера, – сказал Анчутин, – очень скоро вы разъедетесь по своим полкам. Начнете новую, далеко не легкую жизнь. Обыкновенно в полку в мирное время бывает не менее семидесяти пяти господ офицеров – большое, очень большое общество. Но уже давно известно, что всюду, где большое количество людей долго занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где конец занимательности и начало равнодушной скуки, как, например, на кораблях в кругосветном рейсе, в полках, в монастырях, в тюрьмах, в дальних экспедициях и так далее, и так далее, – там, увы, неизбежно заводится самый отвратительный грибок – сплетня, борьба с которым необычайно трудна и даже невозможна. Так вот вам мой единственный рецепт против этой гнусной тли.

Когда придет к тебе товарищ и скажет: «А вот я вам какую сногшибательную новость расскажу про товарища Х.» – то ты спроси его: «А вы отважитесь рассказать эту новость в глаза этого самого господина?» И если он ответит: «Ах нет, этого вы ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет» – тогда громко и ясно ответьте ему: «Потрудитесь эту новость оставить при себе. Я не хочу ее слушать».

Закончив это короткое напутствие, Анчутин сказал сиплым, но тяжелым, как железо, голосом:

– Вы свободны, господа офицеры. Доброго пути и хорошей службы. Прощайте.

Господа офицеры поневоле отвесили ему ермоловские глубокие поклоны и вышли на цыпочках.

На воздухе ни один из них не сказал другому ни слова, но завет Анчутина остался навсегда в их умах с такой твердостью, как будто он вырезан алмазом по сердолику.